Сокуров

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Гончарова угадать непросто. Он не любил афишировать свою личность. И врожденная скромность препятствовала, и провинциальное происхождение сказывалось, и скрытность характера, болезненная подозрительность накладывали отпечаток. В нем не было тургеневской яркости, деятельного темперамента Некрасова, толстовской дерзости, горящего взгляда Достоевского. Он был мягок и уравновешен на людях, придерживался правил светского этикета, ценил воспитанность и культуру. А еще был щепетилен и мнителен. Осторожен. Пожалуй, даже робок — в отношениях с начальством, в обхождении с дамами, в образе жизни.

«Застрельщиком» и «жертвой» Гончаров не был — в отличие от своего ровесника Герцена и однокурсника Лермонтова, — но «передовым воином» был: в борьбе с унынием, ленью, малодушием, нравственной усталостью, безразличием, распущенностью и бездельем — и был победителем.

Издание не рекомендуется детям младше 6 лет.

- Павел Фокин
  - Однокурсник Лермонтова
  - Личность
    - Облик
    - Характер
    - Творчество
    - Особенности поведения
    - Привычки, правила и предпочтения
    - Взгляды и убеждения
    - Художественные вкусы
    - Собеседник
    - Дела сердечные
    - Холостяк
    - С детьми
    - Благодетель
    - Гастроном
    - Жилье
  - Родственные узы
    - Отец Александр Иванович и мать Авдотья Матвеевна
    - Крестный Николай Николаевич Трегубов
    - Брат Николай Александрович
    - Сестра Анна

        - Сестра Александра, племянники и племянницы
    - Странствия, труды и будни
        - В начале жизни
        - Московская юность
        - Одоление Петербурга
        - 1847. Триумфатор
        - Бегство
        - Морская история
        - 1855. «Pour et contre». Роман в записках, письмах и диалогах
        - «Необыкновенная история» с Иваном Сергеевичем Тургеневым
        - Одоление «Обломова»
        - На службе
        - Одоление «Обрыва»
        - На закате дней
        - Тихая кончина
    - Краткая летопись жизни и творчества И. А. Гончарова
    - Библиография
    - Задняя обложка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23

- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

Павел Фокин
Гончаров без глянца

Однокурсник Лермонтова

«Русская суть», которая называется русскою душою, русскою стихиею, — и которая во всяком случае есть крупнейший кусок нашей планеты и большое место всемирной культуры, — эта душа или стихия получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, истолкований себя, размышлений о себе.

В. В. Розанов

Даже как-то трудно сразу поверить и осознать, что Гончаров был *однокурсником* Лермонтова. Такие разные судьбы! Такие разные характеры! Они расположены в разных исторических периодах русской литературы. Лермонтов, для нас, — наследник Пушкина. Гончаров — вместе с Тургеневым, Достоевским, Островским, Некрасовым — «вышел из гоголевской «Шинели»». Литературный успех пришел к Гончарову, когда Лермонтов уже шесть лет лежал в могиле и числился в ряду классиков. А ведь Гончаров был на два года *старше* Лермонтова. Гончаров переживет и Тургенева, и Достоевского, и Островского с Некрасовым, не говоря уж о Гоголе. Но когда он мирно опочит в 1891-м, многие современники удивятся: в последний раз всеобщее внимание читателей и критики к его творчеству было вызвано романом «Обрыв» в 1869-м!

Лермонтов яростной кометой прожег небосклон отечественной словесности; звезда Гончарова, как далекий пульсар, мощными вспышками напоминала о себе раз в десять лет. Слово Лермонтова — звонкое, литое, насыщено энергией неукротимого темперамента и страсти; Гончаров элегичен, мягок, добродушен и деликатен. Даже лирика Лермонтова масштабна, с эпическим гулом; романы Гончарова, напротив, насквозь пронизаны лиризмом. И однако их внешнее различие не нарушает общей картины русской литературы классического периода, они дополняют ее необходимыми чертами. И Лермонтов, и Гончаров — ключевые фигуры своего литературного поколения: Лермонтов заявил проблему изображения «героя времени» как важнейшую задачу современного писателя, Гончаров поставил вопрос о художественном исследовании

особенностей национального характера, — между этими *гносеологическими полюсами* будет формироваться ток высокого интеллектуального напряжения всей русской литературы XIX века.

Литературная карьера Гончарова парадоксальна. Ее и карьерой-то назвать нельзя. Пожалуй, даже привычное словосочетание «творческий путь» здесь не совсем уместно: все свои романы он задумал во второй половине 1840-х, но дописывал их, выписывал — годами и десятилетиями.

Менялись времена и эпохи — и какие! (проиграна Крымская война, отменено крепостное право), — а Гончаров точно и не замечал их. Жил в своем — *романном* — мире, погруженный в пластику слов, нюансы человеческой психологии, в детали повседневного быта и отношений. Он — столичный житель и многолетний цензор периодической печати, бывший в курсе всех новостей и имевший широкий и разнообразный круг знакомств, — берясь за перо, уж точно «уносился мыслью в далекие эмпиреи», забывал про бурление общественной жизни, журнальные споры, светские новости и служебные заботы. «Кто виноват?», «Что делать?» — беспокоились герои нового времени, а его Обломов, будто нарочно, знай себе полеживал на диване в размышлении, спустить ли ему ногу в домашнюю туфлю али погодить.

И — удивительно! — этот зачарованный цензор своим степенным, миролюбивым искусством побеждал суетные времена и громокипящие эпохи: читатели, возносившие на пьедестал каждое горячее слово, обращенное к современности, каждый лозунг и кукиш в кармане, читали и перечитывали его неспешное, обстоятельное, изобильное повествование, обсуждали его — на первый взгляд, «не от мира сего» — героев и героинь, признавали их не только жизненными, но и *актуальными.*

«Начиная читать его, находишь, что многие вещи как будто не оправдываются строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он изображает, невольно признаешь законность и естественность всех выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как бы чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя, да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, беспрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят наконец какое-то обаяние. Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая

внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы», — писал об «Обломове» один из самых радикальных мыслителей своего времени, двадцатитрехлетний юноша Николай Добролюбов.

Гончаров был из породы тех русских, которые долго запрягают, но быстро едут. Свои мысли и впечатлении он накапливал годами, медленно продвигаясь по пути создания художественного целого, неоднократно приступал к работе, писал отдельные сцены и эпизоды. И откладывал перо на месяц. На год. Вновь возвращался к своим записям, уточнял их, развивал — и снова оставлял их. Но мысль, воображение не засыпали. Перед глазами непрестанно развивались живые картины, возникали лица, он *все время* вглядывался в них, различая и примечая все новые черты и детали. В какой-то момент живший внутри Гончарова вулкан творчества вдруг извергался бурным порывом вдохновения, и тогда за недели возникал роман — строка летела за строкой, исписанные листы складывались в увесистые пачки.

За эту художественную медлительность, поэтическую вдумчивость, требовательную обстоятельность письма многие считали его ленивцем, хотя ведь и Пушкин писал «Евгения Онегина» почти десять лет, и «Мертвые души» Гоголя не в одночасье на свет Божий появились! Но почему-то именно Гончарова подозревали в лени и видели в его фигуре первого претендента на роль прототипа Ильи Ильича Обломова! Так точно и любовно обрисовал своего героя Гончаров, что казалось, он списал его портрет с самого себя. Тут, конечно, и внешность склонного к полноте и круглолицего Гончарова сыграла свою роль. Но Обломов не вставал спозаранку, не делал ежедневную гимнастику, не обливался холодной водой! Обломов не следил с тщательностью аристократа за своим костюмом, обстановкой, предметами обихода! Не ходил из года в год на службу! Не вышагивал после обеда по пятнадцати верст по улицам и садам Петербурга! Не ездил в театр, в гости или концерт. Уж тем более не способен был оторваться от своего дивана на длительный срок и уехать в чужие страны, в Европу, за океан.

«За океан» — да от одного этого сочетания слов с Ильей Ильичем случился бы обморок! А Гончаров с детства мечтал о странствиях, зачитывался приключенческими романами, восхищался отважными героями и, как только объявился случай, подал прошение пристать к морской экспедиции — и вскоре оказался на корабле, плыл по бурным водам, качался в тесном кубрике. Два года странствовал, всякого натерпелся, многое

повидал.

Любопытно, «парус одинокой» воспел «мятежный» Лермонтов, а под настоящими парусами оказался его «смиренный» однокурсник Иван Александрович.

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит…

Для Гончарова — это не романтическая фантазия, а пережитое — неоднократно! — впечатление.

«Мы выбрались наверх: темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее; не видно было, куда ступить. Вдруг молния. Она осветила кроме моря еще озеро воды на палубе, толпу народа, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтоб держаться в качку. Я шагал в воде через веревки, сквозь толпу; добрался кое-как до дверей своей каюты и там, ухватясь за кнехт, чтоб не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, или его за ветром не слыхать. Луны не было. <…>

Нечего делать, надо было довольствоваться одной молнией. Она сверкала часто и так близко, как будто касалась мачт и парусов. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт.

— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.

— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье.

Но это было нелегко, при качке <…>. Я отворял то тот то другой ящик, а ящики лезли вон и толкали меня прочь. Хочешь сесть на стул — качнет, и сядешь мимо. Я лег и заснул».

Может быть, и впрямь — «в буре есть покой»?

Но может быть, без опыта реальных бурь, когда гибельные волны ходят ходуном, тучи и мрак застят видимость и даже мощный фрегат теряет оснастку под ударами озверевшего ветра, не родился бы и сладостный покой Обломова?

И еще: покой Обломова — не признак ли это душевной бури Гончарова? Вот ведь и своего однокурсника, который, по нашим представлениям, выглядит чуть ли не антиподом Гончарова, он запомнил вовсе не буяном и демоном: «Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть». Да кто это? Лермонтов? Обломов? Гончаров? Это — не просто Лермонтов, это Лермонтов 1831–1832 годов, это — автор «Паруса» (1832)! Как обманчива внешность! Сколько требуется усилий, чтобы угадать человека!

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Гончарова угадать непросто. Он не любил афишировать свою личность. И врожденная скромность препятствовала, и провинциальное происхождение сказывалось, и скрытность характера, болезненная подозрительность накладывали отпечаток. В нем не было тургеневской яркости, деятельного темперамента Некрасова, толстовской дерзости, горящего взгляда Достоевского. Он был мягок и уравновешен на людях, придерживался правил светского этикета, ценил воспитанность и культуру. А еще был щепетилен и мнителен. Осторожен. Пожалуй, даже робок — в отношениях с начальством, в обхождении с дамами, в образе жизни. Он не был хищником (в одном из поздних писем к сестре чистосердечно признавал себя «карасем» из пословицы про карася и щуку). Не был он и охотником. Он демонстративно назвал свой первый роман «*Обыкновенная* история».

И все же полагать его самого обыкновенным человеком было бы большой несправедливостью. Да, он не носил гусарского мундира, ходил в партикулярном платье, предпочитал горячему скакуну карету. Он не лез на рожон, он тянул лямку ежедневной службы. Любил комфорт и дорогие сигары. Любил пошутить и полюбезничать в женском обществе. И однако же — взошел на палубу! восстал на Тургенева! обличил нигилизм! Наконец, написал ведь и *«Необыкновенную историю»* (хоть и не стал ее печатать). Этот «карась» был «крупной рыбой»!

В натуре Гончарова была духовная неуспокоенность. Его старший брат Николай, не менее талантливый и образованный, тоже с Московским университетом за плечами, не смог двинуться дальше провинциального учителя — ему не хватило воли. Дамоклов меч безволия всю жизнь висел и над головой Ивана Александровича, такова уж была порода. Но Гончаров настойчиво преодолевал ее. По сути дела, он всю жизнь боролся с собой — за себя. Он отстаивал себя, Человека, — у себя, человека. Спасал личность от обезличивания — *образ и подобие* от безобразия и расподобления. Таким был его выбор. Он знал в себе Обломова — и воспитывал в себе Штольца.

Он хандрил, он тосковал, впадал в апатию и бездеятельность, разочаровывался в надеждах, болел и раздражался, жаловался на судьбу, но никогда не давал слабости до конца овладеть собой! Порой отступая, все же не уступал ей совсем. Это ежедневное, мучительное и однообразное борение с собой отнимало сил не

меньше, чем любое сражение. Утренняя перебранка со своим двойником чем не перестрелка с горцами! Равно — гибелью грозит.

И потому так дорог был Гончарову и любим Чацкий которому он посвятил свой заветный шедевр «Мильон терзаний» (ох, как он хорошо знал, что это такое!): «Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь «ум».

И Онегин и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство» и бродили как тени с «тоскующею ленью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно».

Эти гневные и горячие слова написаны шестидесятилетним стариком, не понаслышке знающим, что такое «тоскующая лень»; за ними — его многотрудный опыт *личного* деятельного одоления этой гибельной пропасти человеческого духа.

В апологии Чацкого — русского Штольца — жизненное кредо Гончарова, его нравственный императив: «Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель; но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва».

Белеет парус одинокой…

«Застрельщиком» и «жертвой» Гончаров не был — в отличие от своего ровесника Герцена и однокурсника Лермонтова, — но «передовым воином» был: в борьбе с унынием, ленью, малодушием, нравственной усталостью, безразличием, распущенностью и бездельем — и был *победителем.*

Над ним — луч солнца золотой.

Павел Фокин

Личность

Облик

Гавриил Никитич Потанин (1823–1910), *писатель, уроженец и житель Симбирска. В 40-х годах был домашним учителем детей сестры И. А. Гончарова А. А. Кирмаловой:*

Передо мной предстал обыкновенный мужчина среднего роста, полный, бледный, с белыми руками, как фарфор; коротко стриженные волосы, голубовато-серые глаза, как на портрете отца, но улыбка не отцовская, насмешливая. Одет он был безукоризненно: визитка, серые брюки с лампасами и прюнелевые ботинки с лакированным носком, одноглазка на резиновом шнурке и короткая цепь у часов, где мотались замысловатые брелоки того времени: ножичек, вилочка, окорок, бутылка и т. п. Петербургские франты того времени не носили длинных цепей на шее. Гончаров был подвижен, быстр в разговоре, поигрывал одноглазкой, цепочкой или разводил руками.

Алексей Петрович Плетнев (1854 — после 1912), *писатель и критик; сын литературного критика, профессора и ректора Петербургского университета П. А. Плетнева:*

В пору своего расцвета Гончаров был полный, круглолицый, с коротко остриженными русыми баками на щеках, изящно одетый мужчина, живого характера, с добрыми, ласковыми светло-голубыми глазами.

Ростислав Иванович Сементковский (1846–1918), *писатель, публицист и литературный критик. По образованию юрист. В 1872–1876 годах — сотрудник «Нового времени», с 1897 года — редактор «Нивы»:*

Мужчина лет пятидесяти, небольшого роста, с пробритым подбородком, с начинавшими уже седеть густыми усами, бакенбардами и волосами, тщательно приглаженными. Костюм сидел на нем мешковато, но все было опрятно, только помню <…>, что половинки воротника рубашки были постоянно у него плохо пригнаны и как-то беспорядочно расходились. <…> Я невольно любовался его тонким, правильным, благородным носом, а главное — его глазами, умными, вдумчивыми и в то же время такими печальными, что самому вдруг грустно станет.

Гавриил Никитич Потанин:

В казенной службе он был гладко обрит и сильно озабочен своим столоначальничеством, и теперь носил густейшие бакенбарды прусского короля и складывал на груди руки, как

Наполеон.

Павел Михайлович Ковалевский (1823–1907), *беллетрист, поэт, переводчик, художественный критик, сотрудничавший в «Современнике», «Отечественных записках», а затем в «Вестнике Европы»:*

Кругленький, пухлый, с сонливо-спокойным взглядом светлых глаз из-под широких век в ячменях.

Николай Иванович Барсов (1839–1903), *духовный писатель, автор ряда статей по истории религии и раскола, профессор богословия и гомилетики Петербургской духовной академии:*

(1867) Одет был Иван Александрович нарядно, изящно: в новенькой бархатной визитке, в пестром красивом галстуке.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921), *прозаик, драматург, мемуарист:*

Тогда Гончарову было уже шестьдесят восемь лет; но он совсем не смотрел дряхлым старцем: волосы далеко еще не поседели, хотя лоб и обнажился, в лице сохранилась еще некоторая свежесть, в фигуре не было еще старческой полноты; ходил он очень бойко — все тем же крупным, энергическим шагом, — держался прямо.

Виктор Иванович Бибиков (1863–1892), *писатель:*

В это время на пороге гостиной показался старик среднего роста в больших синих очках (консервах), вошедший в комнату в сопровождении молодой девушки. «Гончаров!» — шепотом сказал кто-то, и в гостиной вдруг наступила тишина. <…>

Портрет, приложенный к полному собранию сочинений Гончарова, имеет теперь с ним мало общего. Там его довольно полные щеки обрамляют бакенбарды, теперь Иван Александрович носит бороду. Кроме того, спустя несколько лет после выхода в свет полного собрания сочинений Иван Александрович имел несчастье потерять правый глаз, вытекший от многолетних вечерних занятий и чтения по ночам. Но этот недостаток не сообщает, как можно было бы ожидать, ничего отталкивающего выражению лица Ивана Александровича. <…> Исхудалое лицо дышит кротостью и мудростью. Чувствуется, что этот человек испытал и видел много, перестал удивляться и теперь «спокойно зрит на правых и виновных». Широкие плечи, довольно густые, хотя, разумеется, седые, волосы и весь склад фигуры свидетельствуют о счастливом, некогда могучем организме, сохранившем и в глубокой старости относительную бодрость.

Звук голоса слабый, но внятный, без всяких пришепетываний и других старческих особенностей.

Михаил Викторович Кирмалов (1863–1920), *сын племянника И. А. Гончарова В. М. Кирмалова:*

Я нашел Ивана Александровича в маленькой темноватой гостиной (квартира прежняя была расширена), в кресле. Он казался очень постаревшим и ослабевшим. Оброс бородой, вместо правого глаза была впадина, прикрытая веками. Но во взгляде другого, здорового глаза, казалось, мерцал удвоенным светом глубокий ум и какая-то покойная просветленность.

Гавриил Никитич Потанин:

(1891) <…> Послышался шорох туфлей; обернулся и увидал мощи Гончарова.

Немка-барыня и немка-служанка вели его под руки; от изнеможения он упал в кресло. Передо мной был страшный Гончаров! Белый, бумазейный халат, подпоясанный белой тесемкой; лицо — мертвец, волосы вылезли, зрячий глаз выцвел, щеки ввалились, рот от изнеможения открыт; особенно страшна была багровая яма, из которой вытек больной глаз; из ямы этой, точно из черепа, смотрела на меня черная тьма.

Характер

Алексей Петрович Плетнев:

Это был тип наших старых бар, горячо любивших Россию и весь ее патриархальный уклад, по при этом признававших западную культуру и ее «святые чудеса», как говорил Герцен.

Гончаров же по внешности, по манерам носил отпечаток тех русских свойств, которые так ярко выступили в его произведениях. Тут смешались и доброта и упрямство, скромность и вместе с тем гордость и некоторое славянское эпикурейство.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. Языковой. Петербург, 12 (24) августа 1852 года:*

Я очень разнообразно провожу время: то убиваюсь хандрой и желчью, то на пять минут развеселюсь так, что святых вон понеси, вчера так вот был пьян, немного простудился и крапивная лихорадка усеяла мой лоб премиленькими пятнышками. А основанием глубокой тоске и внезапному веселью служат мои больные нервы, так что и надежды нет, чтоб я когда-нибудь окончательно придержался чего-нибудь одного, то есть чтоб или захандрил или развеселился однажды навсегда. И ведь это с детства так: я помню, мне было лет восемь, а я уж тосковал часто или веселился без причины. Нечего делать, знать таким уродился, таким и останусь.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Петербург, 23 августа (4 сентября) 1852 года:*

Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь.

Анатолий Федорович Кони (1844–1927), *видный юрист, прогрессивный общественный деятель, литератор, член Государственного совета, почетный академик (с 1900 года):*

Те, кто встречал лишь изредка Гончарова или предполагал найти в нем живое воплощение одного из его наиболее ярких образов, охотно отождествляли его с Обломовым, — тем более что его грузная фигура, медлительная походка и спокойный, слегка апатичный взор красивых серо-голубых глаз давали к этому некоторый повод. Но в действительности это было не так.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Ленивой никак нельзя было назвать его натуру. Осторожной, склонной к медлительности и постоянному передумыванию известной темы — да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя (Обломова. — *Сост.)*. Голова постоянно работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привычках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышечном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный ходок и уже за семьдесят лет, с постоянным катаром и одышкой, если только был на ногах, ходил пешком обедать с одного конца Петербурга на другой — с Моховой на Мойку. И психически он склонен был к душевному возбуждению, что беспрестанно сказывалось в его разговоре.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. С. Тургеневу. Петербург, 28 марта (9 апреля) 1859 года:*

Только знаю, что если меня что-нибудь приятно или неприятно взволнует, поразит etc., я глубоко проникаюсь мыслью или чувством, враждой или (не ненавистью только, я не могу ненавидеть, тут у меня и упорства нет) намерением и — будто против воли несу свою ношу, упорно и непреклонно иду до цели, хотя бы пришлось и потерпеть.

Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911), *историк, профессор Петербургского университета, публицист, издатель-редактор журнала «Вестник Европы»:*

Обыкновенно говорят, что в собственной его природе было много «обломовщины», что потому ему так и удался «Обломов»; но это могло только показаться тем, кто не знал его ежедневной жизни или увлекался тем, что действительно Гончаров охотно поддерживал в других мысль о своем личном сходстве с своим же собственным детищем. Между тем он был весьма деятельным и трудолюбивым человеком, всего менее похожим на Обломова. Его постоянно занимала мысль о создании чего-нибудь нового; это было видно из его интимных бесед, причем он всегда требовал безусловной тайны.

Александр Николаевич Гончаров (1843–1907), *племянник Гончарова, сын старшего брата Николая:*

Левенштейн, очень дельный психиатр, уверял меня, что Гончаров представляет собою интересный тип для психиатра: при таланте и наблюдательности, у него не было самообладания и силы воли.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Для него стоило великих усилий решиться на что-нибудь такое, что может поставить его в неловкое положение. Про эту преобладающую черту его натуры и воспитания мне много рассказывал автор «Тарантаса», граф В. А. Соллогуб, еще в последние годы моего учения в Дерите. Он хорошо знал Гончарова с самых первых его шагов как писателя, и у него было несколько забавных рассказов, как Иван Александрович тревожно охранял свою неприкосновенность, боясь пуще огня как-нибудь себя скомпрометировать.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. Н. Майкову. Петербург, и (23) апреля 1859 года:*

<…> Меня не любят за… характер, то есть что у меня есть какой-нибудь характер, не искательный, не подладливый; угрюмость мою, охлаждение от лет принимают за гордость и не прощают мне этого, не прощают резкости; притом я ценсор, лицо не популярное. Редакции, кроме Отеч<ественных> зап<исок>, Библ<иотеки> д<ля> чтения да отчасти Современника, меня не жалуют, московские в особенности. Тургенев, независимо от сильного таланта, мягок, готов сидеть со всяким, всюду идет — и в салон Кушелева и к Плещееву, во всех редакциях — идол. Я не умею и не могу, потому, между прочим, что у меня вся жизнь пронизана каким-нибудь самостоятельным — может быть и уродливым, — но своим взглядом, идеею, воззрением, притом упорным, последовательным и верным себе воззрением. От этого я для всех почти, за исключением немногих друзей, «неприятный господин».

Вера Михайловна Спасская (1855–1938), *переводчица, дочь метеоролога и физика профессора Московского университетам. Ф. Спасского:*

Несмотря на некоторую замкнутость натуры И. А. Гончарова, на его способность съеживаться и прятаться от взоров, казавшихся ему любопытными и назойливыми, на его несомненное родство с noli me tangere[1] в растительном мире, чем-то удивительно мягким и благожелательным веяло от всего его существа.

Творчество

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. С. Тургеневу. Петербург, 28 марта 1859 года:*

Я откровенно люблю литературу, и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием — и говорю это также откровенно. То же упорство, какое лежит у меня в характере, переносится и в мою литературную деятельность.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Мариенбад, 8 (20) июня 1860 года:*

Лень, обломовщина и эпикуреизм едва ли на третью долю помешали мне делать свое дело. Да позвольте: ведь творчество — своего рода эпикуреизм; наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения — как Вы ни оспаривайте: творчество — это высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма, следовательно — лениться почти нельзя, тем более что с успехом связано торжество самолюбия, многие материальные выгоды и т. п. И я ленился, повторяю, мало, а прежде всего я долго не видел в этом своего призвания и не сознавал обязанности за собой; и как в нашем обществе, при наших обстоятельствах, было сознавать и стремиться к тому, что в смысле серьезной цели никогда не существовало? У нас литератор не был растением, рождающимся на общественной почве, из обществ венных потребностей; это было какое-то одинокое, отдельное, случайное растение, роскошь, а отнюдь не потребность, и притом роскошь, признававшаяся долго вредной, как табак в старину. Его топтали, давили, истребляли — и он почти всегда был контрабандой. Только ведь со времени Гоголя начали видеть в писателе-художнике что-то серьезное, нужное и важное. Мог ли я задаться мыслью, что это *мой* долг и призвание — особенно пять, шесть лет тому назад?

Анатолий Федорович Кони:

Произведения Гончарова — прежде всего изображение и отражение его житейских переживаний. Он сам сказал: «Что не выросло и не созрело во мне самом, чем я сам не жил, то недоступно моему перу; я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало». Поэтому его личность тесно связана с его творчеством, и на последнем постепенно отражается все, что трогало его душу, как теплое воспоминание, как яркая действительность или как захватывающая его мысль и внимание картина.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Д. Л. Левенштейн. 9 марта 1888. Из Петербурга:*

Целиком с натуры не пишется, иначе ничего не выйдет, никакого эффекта. Все равно, что сырую говядину на стол подать. Словом — надо обработать, очистить, вымести, убрать. — Лжи никакой нет: много взято верно, прямо с натуры, лица, характеры <…>, даже разговоры, сцены. Только кое-что украшено и покрыто лаком. *Это и называется художественная обработка.*

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ек. П. Майковой. Петербург, февраль 1869 года:*

Произведение искусства — не есть — ни защитительная, ни обвинительная речь, и не математическое доказательство. Оно не обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изображает. И если образ — верен, он что-нибудь сам собою и докажет, если не верен — то он — не художественное произведение и следовательно не годится.

Анатолий Федорович Кони:

Другой особенностью, свойственной творчеству Гончарова, была *выношенность* его произведений, благодаря которой «Обломов» и «Обрыв» — в особенности второй — писались долгие годы и появлялись сначала в виде отдельных, имевших целостный характер отрывков. Так, «Обломову» за несколько лет предшествовал «Сон Обломова», а «Обрыву» — тоже за много лет — «Софья Николаевна Беловодова». Гончаров точно следовал рецепту замечательного художника-живописца Федотова: «В деле искусства надо дать себе настояться; художник-наблюдатель — то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть — нужно только уметь разлить вовремя». Медлительному, но творческому духу Гончарова была несвойственна лихорадочная потребность высказаться по возможности немедленно, и этим в значительной степени объясняется гораздо меньший успех «Обрыва» сравнительно с двумя первыми его романами: русская жизнь опередила медлительную отзывчивость художника. Ему было свойственно страдальчески переживать тяжелые муки рождения своих произведений. Он часто сомневался в себе, падал духом, бросал написанное и принимался за то же произведение снова, то не доверяя своим силам, то пугаясь разгара своей фантазии.

Александр Николаевич Гончаров:

Когда разговор коснулся его литературной деятельности, он сказал: «Вы, Александр Николаевич, думаете, что для меня писать

так же легко, как для вас взять четвертушку бумаги и написать, чтобы прислать из лавки полфунта икры, фунт сыру, сигу, что ли, или чего-нибудь подобного. Вам чужд процесс творчества. Это для меня хуже, чем для женщины роды. Я вижу *их* всех перед собой. Этот проклятый Волохов в особенности не давал мне покоя: он приходил ко мне в кабинет. Ездил я от них в Карлсбад, запирался там от них, но они все-таки являлись».

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и С. А. Никитенко. Мариенбад, 23 июня (4 июля) 1860 года:*

Не трудно рисовать, по крайней мере для меня: начни чертить, и выходит рисунок, сцена, фигура, это и весело; но проводить смысл, выяснять цель создания, *необходимость,* по которой должно держаться все создание, это и скучно и невыразимо трудно.

Анатолий Федорович Кони:

К *условиям* творчества Гончарова, кроме его медлительности, относилась и тяжесть самого труда, как орудия творчества. Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них выставлялись и исключались обширные места, по нескольку раз переделывалось какое-либо выражение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки. Поэтому рабочая сторона творчества доставалась ему тяжело. «Я служу искусству, как запряженный вол», — писал он Тургеневу. Вспоминая свою литературную деятельность, он сказал мне в 1880 году: «Помните, что говорит у Пушкина старый цыган Алеко: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское — шутя»; вот так и я пишу — горестно и трудно, а другим оно дается шутя». Эта «горестная и трудная» работа для успеха своего нуждалась и в особой обстановке. С одной стороны, он — русский человек до мозга костей — не был способен к размеренному, распределенному на порции труду — по стольку-то страниц в день, как это делал, например, Золя; а, с другой стороны, когда внешние обстоятельства и личное настроение складывались гармонически, он был способен работать запоем. <…> Из письма его к С. А. Никитенко в 1868 году из Киссингена оказывается, что он, засев за «Обрыв» после разных колебаний, написал в две недели своим убористым и мелким почерком шестьдесят два листа кругом, что должно составить от

двенадцати до четырнадцати печатных листов.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Киссинген, 9 (21) июня 1868 года:*

И что нужно мне: добро бы роскошная природа, комфортабельная обстановка, прекрасные виды кругом — совсем напротив: не нужно, это мешает, это развлекает, это хорошо за обедом или вечером при отдыхе, для успокоения нерв.

Но в работе моей мне нужна простая комната, с письменным столом, мягким креслом и с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало, а главное, чтоб туда не проникал никакой внешний звук, чтобы могильная тишина была вокруг и чтоб я мог вглядываться, вслушиваться в то, что происходит во мне, и записывать. Да, тишина безусловная в моей комнате и только!

Екатерина Павловна Майкова (урожд. Калита; 1836 – 1920), *писательница, сотрудница детских журналов «Подснежник» (1858–1863) и «Семейные вечера» (1864–1866), добровольно помогала Гончарову в качестве литературного секретаря:*

Автор «Обломова» отличался оригинальной манерой письма. Вынашивая годами образы в голове, Гончаров время от времени делал на клочках бумаги наброски сцен, содержания глав, имена действующих лиц, описания и характеристики. В конце концов накапливался из этих черновых заметок целый портфель бумаг.

Сигизмунд Феликсович Либрович (псевдоним В. Русаков; 1855–1918), *писатель, историк, библиограф, сотрудник и редактор многих изданий Товарищества М. О. Вольфа:*

В личных своих разговорах с Вольфом, с глазу на глаз, Гончаров очень часто, высказывая какую-нибудь мысль, какой-нибудь взгляд, мнение, тут же вынимал из кармана записную книжку или клочок бумаги и быстро-быстро заносил туда несколько строк. В особенности он делал это тогда, когда по поводу того или другого факта, той или другой встречи вспоминал давно прошедшее минувшее, точно желая отметить что-то им забытое и сохранить его в своей памяти.

— Это уж у меня такая привычка с самых ранних лет моей жизни, — объяснял он.

Что сталось с этой записной книжкой, с теми клочками бумаги «для памяти», к сожалению, мне неизвестно.

Федор Андреевич Кудринский (1867–1937), *историк, публицист, сотрудник «Киевской старины», «Виленского вестника» и др. Со слов Александры Яковлевны Колодкиной, начальницы*

Виленского высшего мариинского училища, знакомой Гончарова:

В то время (в 1860-е. — *Сост.)* было известно, что некоторые редакторы предлагали Гончарову по пятьсот рублей с печатного листа.

— Что же вы не пишете? — спрашивала его Александра Яковлевна.

— А вы полагаете, что писатель — сапожник… получил заказ — и сейчас же скроил…

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. С. Тургеневу. Петербург, 28 марта (9 апреля) 1859 года:*

Ведь не десять тысяч (на них мне мало надежды осталось) манят меня к труду, а стыдно признаться… я прошу, жду, надеюсь нескольких дней или «снов поэзии святой», надежды *«облиться слезами над вымыслом».*

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. Ф. Бергу. Петербург, 17 августа 1887 года:*

Вы правы, говоря, что я пишу не для гонорара: да, я не пишу с этою целью т. е. так: «что вот мол мне дают такой-то гонорар, я и напишу». Гонорар никогда не служил мне мотивом и импульсом, а был необходимым последствием за исполненный труд. Но пренебрегать щедрым гонораром я не могу, да и не вижу надобности: тут нет никакого греха.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и С. А. Никитенко. Булонь, 16(28) августа 1860 года:*

Скажу Вам, наконец, вот что, чего никому не говорил: с той самой минуты, когда я начал писать для печати (мне уж было за 30 лет и были опыты), у меня был один артистический идеал: это — изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры. <…> Но тема эта слишком обширна, я бы не совладел с нею, и притом отрицательное направление до того охватило все общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя), что и я поддался этому направлению, вместо серьезной человеческой фигуры стал чертить частные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны. Не только моего, но и никакого таланта не хватило бы на это. Один Шекспир создал Гамлета — да Сервантес — Дон-Кихота — и эти два гиганта поглотили в себе почти все, что есть комического и трагического в человеческой

природе. А мы, пигмеи, не сладим с своими идеями — и оттого у нас есть только намеки.

Михаил Матвеевич Стасюлевич:

Он никогда не мог отрешиться и не отрешался от прирожденной его таланту творческой деятельности; на появление же его имени в печати под статьей, принадлежащей какой-нибудь другой области литературы, он смотрел как на какую-то измену своему призванию. После напечатания «Обрыва» в 1869 году, года три спустя появилась в нашем журнале его столь известная критическая статья по поводу бенефиса актера Монахова, давшего «Горе от Ума» (в 1872 году). После спектакля Гончаров в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова, и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его прекрасной речью, заметил ему: «А вы бы, Иван Александрович, набросали все это на бумагу, ведь все это очень интересно». На этот раз он обещал исполнить просьбу, хотя не без обычных для него в таком случае возражений и отнекиваний. Но напечатание этой статьи представило неимоверные затруднения, и мы думаем — именно по вышеуказанной причине. Теперь довольно только сказать, что статья была один раз уже набрана и опять разобрана; при напечатании оказалось, что статья явилась в корректурах с одною начальной буквой Г., и то после некоторой борьбы; в печати, в мартовской книге, под статьей были уже две буквы: И. Г.; на обертке той же книжки журнала явились все три буквы: И. А. Г., и только в конце года в алфавитном указателе 1872 года, при декабрьской книге, заглавие статьи могла сопровождать полная подпись автора. Не время и не место говорить теперь, как все это происходило, хотя это в высшей степени характерно; довольно заметить, что когда вся эта история окончилась к общему удовольствию, Иван Александрович любил сам вспоминать о ней и самым добродушным образом смеялся по поводу ее. «А как я хорошо назвал свой этюд: «Мильон терзаний»! — говаривал он. — Ведь это в самом деле был миллион терзаний и для меня и для нас; а читатель и не догадывается, почему я выбрал такое заглавие!»

Сигизмунд Феликсович Либрович:

Строгость по отношению к своим литературным трудам доводит Ивана Александровича иногда до того, что он прямо уничтожает целые готовые рукописи! Так, например, известно, что он уничтожил все свои переводы из Шиллера, Гете, Винкельмана и некоторых английских романистов. Корзина для

бумаг под письменным столом Ивана Александровича — это одна из свидетельниц, к несчастию немых свидетельниц, строгой критики писателя к своим трудам и жестоких над ними приговоров.

Особенности поведения

Елизавета Александровна Гончарова (урожд. Уманец; (1852–1924)), *жена племянника писателя, А. Н. Гончарова:*

Иван Александрович делал впечатление и петербургского чиновника и чистокровного аристократа по манере держать себя, говорить, не отдавая себя никогда, всегда начеку, выжидая, высматривая.

Гавриил Никитич Потанин:

В другой раз я видел Гончарова другим человеком, в третий — третьим, уже совсем непохожим на первого и второго, и чем больше в него всматривался, тем больше казался он мне непонятным и неуловимым: он по-петербургски мог в одно и то же время смеяться и плакать, шутить и важно говорить.

Евдокия Петровна Левенштейн (1848–1911), *приемная дочь сестры, Гончарова, А. А. Музалевской:*

Дядя был удивительно изящен во всем: в манерах, в разговоре, даже в отдельных выражениях.

Александр Васильевич Никитенко (1804–1877), *литературный и общественный деятель, профессор Петербургского университета, академик; в течение многих лет служил в различных учреждениях цензурного ведомства и Министерства народного просвещения. Из дневника:*

1864. Февраль 7. *Пятница.* Гончаров — толстенький, надутенький господин вроде провинциального дворянина. Он непременно хочет давать вам чувствовать, что вы имеете дело с знаменитостью в его особе. Весь же его характер может быть обозначен следующими чертами: *эгоист, трус и завистник…*

Николай Иванович Барсов:

Гончаров имел — в цветущую пору своей литературной деятельности, и особенно по возвращении из кругосветного плавания, — очень много знакомств в высшем светском обществе и в 1870–1875 годах по вечерам редко сиживал дома. Но близкого кружка друзей, которые собирались бы у него и в обществе которых он мог бы, как говорится, отводить душу, у него, можно сказать, почти не было, насколько мне известно. Меня всегда удивляло, что среди литературного мира эта крупная литературная сила стояла как-то обособленно, как будто в не совсем добровольном отдалении. Кроме М. М. Стасюлевича,

который сблизился с ним, сколько помню, после того, как в его журнале был напечатан «Обрыв», я не знаю ни одного литератора или ученого, который был бы с ним даже просто в приятельских отношениях. На литературных вечерах в пользу кого-либо, бывших в такой моде в недавнее еще время, его совсем не было видно ни в роли чтеца своих произведений, ни даже в качестве простого посетителя. За все время моего знакомства с ним мне удалось видеть его лишь на одном литературном вечере, где покойный граф А. К. Толстой читал которое-то из своих драматических произведений. <…> Аристократические знакомые Гончарова принимали его у себя, делали ему утренние визиты; но жил он одиноким, почти анахоретом, в довольно скучной обстановке, все время в одной и той же сумрачной квартире на Моховой, во дворе, в первом этаже; в которую не проникало солнце. Этим его положением — кто мешал ему изменить его к лучшему, если устранить предположение, что ему самому присуща была обломовская неподвижность, — мне кажется, следует исключительно объяснить и относительную скудость его литературной производительности и то, большею частью, сумрачное настроение духа, какое в нем мною замечалось…

Федор Андреевич Кудринский. *Со слов А. Я. Колодкиной:*

Он очень любил посентиментальничать, но его сентиментальность отличалась эгоистическим характером, чего он и не скрывал. Иногда на него, впрочем, находили минуты пессимизма, и тогда он говорил о бренности всего существующего и о неизбежности общего для всех конца.

Анатолий Федорович Кони:

Под спокойным обличьем Гончарова укрывалась от нескромных или назойливо-любопытных глаз тревожная душа. Главных свойств Обломова — задумчивой лени и ленивого безделья — в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником. Его переписка могла бы составить целые томы, так как он вел корреспонденцию с близкими знакомыми часто и аккуратно, причем письма его представляют прекрасные образцы этого эпистолярного рода, который был привычен людям тридцатых и сороковых годов. Это была неторопливая беседа человека, который не только хочет подробно и искренно поделиться своими мыслями и чувствами и рассказать о том, что с ним происходит, но и вызвать своего собеседника рядом вопросов участливого внимания и мирных шуток на такое же повествование. Современный человек почти

уже не знает подобных писем. <…> Написанные мелким почерком, с массой приписок, они в своей совокупности рисовали Гончарова во всех проявлениях его сложной духовной природы и, конечно, стоили ему немалых труда и времени. Не говоря уже об обычном тяжелом и скучном труде цензора, который он выполнял со свойственной ему щепетильной добросовестностью, он много и внимательно читал, и отзывы его в беседах о выдающихся произведениях изящной, а иногда и научной литературы указывали на ту глубокую вдумчивость, с которой он не раз подвергал внутренней проверке прочитанное, прежде чем высказать о нем свое обоснованное мнение.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Довольно сильное сознание своего писательского «я» было у него соединено не только с боязнью всякой неловкости, всякого щекотливого положения, но и с застенчивостью, какую до смерти в большом обществе имел и Тургенев.

Сигизмунд Феликсович Либрович:

Издания И. А. Гончарова «Обрыв», «Обломов», «Фрегат «Паллада»» были в то время совершенно распроданы. Сидя в уголке за дверью (бывая в книжном магазине М. О. Вольфа. — *Сост.),* он часто сам слышал, как публика спрашивала его сочинения, но оставался совершенно равнодушным к этому.

— Что же вы, Иван Александрович, не приступите к новому изданию ваших сочинений? — неоднократно спрашивал его Вольф.

— Куда мне уже, старому! Забота, хлопоты, корректура… Нет, я этого не в состоянии!..

— Позвольте! Все это — дело издателя, — убеждал Вольф.

— Да, но, выпуская новым изданием, следовало бы кое-что исправить, переделать, сократить… Где же мне теперь приниматься за такую работу?..

Разговоры на эту тему повторялись довольно часто, но Гончаров все оставался при своем мнении. Только в 1879 году, убедившись, вероятно, в несомненном спросе на свои сочинения, он выпустил в свет полное собрание своих сочинений, после того как большинство отдельных его романов в течение многих лет были совершенно распроданы, считались библиографической редкостью и ценились книгопродавцами на вес золота! В книжном мире решение И. А. Гончарова приступить к новому изданию своих сочинений (о котором в свое время оповестили газеты, указывая вместе с тем и сумму гонорара, полученного за право издания Гончаровым от Глазунова) составило, конечно,

крупное событие. Покойный Маврикий Осипович Вольф рассказывал по поводу этого «решения Гончарова», что он видел на своем веку много раз, как беспокоились и дрожали молодые, начинающие писатели в то время, когда печаталось их первое произведение, но все это ничто в сравнении с беспокойством, которое проявлял Гончаров, решившись на новое издание своих сочинений. В скромности своей маститый писатель просто боялся за успех этих сочинений, боялся, что они «отжили свою пору» и что его станут упрекать за то, что он вздумал вновь напечатать несколько жемчужин русской беллетристики…

Виктор Иванович Бибиков:

Отличительной чертой характера И. А. Гончарова является скромность, кроющаяся, разумеется, в сознании своих сил. Никогда Гончаров не писал никаких писем личного характера в газеты или журналы, никогда он не принадлежал ни к какой литературной партии, никогда и никакими другими путями, кроме чистого творчества, он не искал популярности. Боязнь всего, что может походить на рекламу, доходит в нем до крайности. В одном из своих писем, напечатанных в «Нови», он убедительно просит Писемского вычеркнуть из какой-то пьесы автора «Горькой судьбины» цитату из его, Гончарова, сочинений. Этой просьбе посвящена большая половина письма.

Леонид Николаевич Витвицкий (1856–1920), *журналист, сотрудник, впоследствии редактор газеты «Рижский вестник»:*

Как и большинство истинно великих людей, И. А. Гончаров был очень скромен и даже робок в обращении с мало ему знакомыми лицами, так что подчас казался нелюдимым; но в действительности он был очень общителен и даже очень любил «поговорить», в особенности с теми, кто забывал в общении с ним, что имеет дело с европейской знаменитостью.

Анатолий Федорович Кони:

Внешнее спокойствие и любовь к уединению шли у него рядом с глубокой внутренней отзывчивостью на различные явления общественной и частной жизни. Разборчивый в друзьях и не очень податливый на поспешное сближение, он не торопился следовать нашей мало похвальной и приводящей к горьким разочарованиям привычке открывать чуть не каждому встречному свой внутренний мир. <…> Но к скорбям и радостям тех, в дружбу кого он уверовал, он умел относиться с живым сочувствием, со словом горячего и настойчивого ободрения, с деликатным участием оценивая и освещая их душевные

переживания. В интимной, дружеской беседе он оживлялся и преображался. Молчаливый и скупой на слова в большом обществе, он становился разговорчивым вдвоем, и его живое слово, образное и изящное, лилось свободно и широко. Но все шумное, назойливое, все имевшее плохо прикрытый характер допроса его и раздражало и пугало, заставляя быстро уходить в свою скорлупу и поспешно отделываться от собеседника общими местами.

Евдокия Петровна Левенштейн:

Если он на улице завидит, бывало, еще издалека кого-либо из наших знакомых, то тотчас же сворачивает куда-нибудь в сторону, избегая встреч.

Виктор Иванович Бибиков:

И. А. Гончаров живет уединенной, замкнутой жизнью, никогда не появляясь ни на каких литературных вечерах, обедах или юбилеях, и в Литературном обществе, почетным членом которого И. А. Гончаров состоит со дня его основания, мне удалось видеть Ивана Александровича всего один раз.

Леонид Николаевич Витвицкий:

Всяких оваций и публичных чествований Иван Александрович боялся пуще огня и упорно отклонял все приглашения на обеды, торжественные собрания и т. д., ссылаясь на свои лета и недомогание. Не особенно охотно завязывал Иван Александрович и новые знакомства, но старые поддерживал довольно усердно.

Анатолий Федорович Кони:

Когда возникла мысль о его литературном юбилее, Гончаров пришел в болезненное волнение, убедительно и настойчиво отговаривая всех, кто мог быть прикосновен к организации этого празднования, оставить всякую мысль об этом, угрожая, в нарушение своего сложившегося житейского обихода, покинуть среди зимы Петербург и уехать «куда глаза глядят», оставив юбилейное чествование без виновника торжества. Только после неоднократных попыток и с большим трудом удалось уговорить его принять самый тесный кружок его друзей по «Вестнику Европы», поднесших ему мраморные столовые часы с бронзовым изображением Марфиньки из «Обрыва» и воздержавшихся, щадя старика, от всяких приветственных речей.

Сигизмунд Феликсович Либрович:

Иван Александрович — как это небезызвестно всем сколько-

нибудь знающим его — всегда жалуется на нездоровье, хотя как в семидесятых годах, так и теперь никто не решился бы назвать его больным, судя по бодрой, живой внешности.

Анатолий Федорович Кони:

Нервная восприимчивость, сидячая по необходимости жизнь и сильная склонность к простуде отражались на его настроении иногда в чрезвычайно сильной степени. До чего это доходило, видно из письма его к Стасюлевичу в 1868 году из Киссингена: «Подул холод, — пишет он, — нашли тучи, и все это легло мне на душу, и опять наверх всплыли мутные подонки, и опять я бросил перо, повесил голову и стал видеть скверные, преследующие меня сны; опять дружеские лица стали обращаться во врагов и кивать мне из-за углов. Мне опять стало душно, захотелось и в воду, и в огонь, и в Новый Свет бежать и даже уйти совсем на тот свет. Стоит ли писать дальше?»

Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911), *князь, поэт, публицист и философ. В 1890–1896-м редактировал московский журнал «Русское обозрение»:*

Гончаров любил иногда подтрунить над старым швейцаром гостиницы. Раз, входя в нее, он совершенно серьезно спросил его:

— Не у вас ли остановился Робинзон?

— Как? — переспросил швейцар.

— Робинзон Крузоэ, — пояснил Гончаров.

В другой раз, выходя из той же гостиницы, Гончаров встретил девицу легкого поведения, которая предложила ему следовать за собой. Он отказался, сославшись на свой возраст.

— С меня чего взять… я старик. А вот там идет купец богатый, богатый, — указал он девице на шедшего впереди Михаила Матвеевича Стасюлевича.

Сигизмунд Феликсович Либрович:

С удивительною откровенностью сознается, например, Гончаров, что для него «не было в жизни ничего гнуснее, как платить за книгу».

Эти слова буквально взяты из письма Гончарова к издателю «Голоса» Краевскому от 20 декабря 1868 года. Они отнюдь не брошены случайно, не составляют того, что французы называют façon de parler[2], нет, Гончаров был убежденным врагом покупки книг. В моих воспоминаниях о Гончарове, много лет назад, еще при жизни автора «Обломова», печатавшихся в «Нови», я рассказывал, как Гончаров заходил в книжный магазин М. О. Вольфа и брал французские романы для прочтения.

Маврикий Вольф, зная слабость Гончарова и его скупость, охотно шел навстречу творцу «Обломова» и давал ему все французские беллетристические новинки. < … >

Но Гончаров никогда не оставлял у себя взятых книг, не «зажиливал» их, как говорится, и возвращал в полной сохранности, разрезывал осторожно, обращался с ними необычайно бережно. < … >

Личная библиотека Гончарова состояла из очень немногих книг, преимущественно «подношений» авторов, и классиков, среди которых первое место занимал излюбленный автором «Обломова» Грибоедов; старый, зачитанный экземпляр сочинений творца «Горя от ума» лежал у Гончарова всегда на столе. Но даже сочинения Грибоедова не были куплены Гончаровым: ему поднес их Краевский в нарядном переплете, с соответственной надписью.

Привычки, правила и предпочтения

Евдокия Петровна Левенштейн:

Дядя придерживался строго определенного режима, вставал в восемь часов, делал себе холодные обливания и, окончив свой туалет, отправлялся гулять, а после прогулки приступал к своему обычному завтраку a l'anglaise, как он говорил, состоявшему из бифштекса, холодного ростбифа и яиц с ветчиной, — все это он запивал кофе или чаем. В остальное время он придерживался нашего домашнего режима.

Перед обедом он делал ручную гимнастику. Помню, раз в аллее сада я застала его неожиданно за гимнастикой…

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. Петербург, 20 ноября (2 декабря) 1852 года:*

Соскучившись на фрегате, я взял шлюпку — да и в Портсмут, хотя и там не много веселее, я город знаю наизусть. Шатался, шатался там, накупил по обыкновению всякой дряни полные карманы, благо все дешево. Сигарочницу, а их у меня уж шесть, еще немножко сигар, а их лежит в ящике 600, до Америки станет, какую-то книгу, которую и не прочтешь, там футляр понравится, или покажется, что писчей бумаги мало, и писчей бумаги купил да так и прошатался до вечера.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

1860. Май 22. Воскресенье. Дрезден. Дни проводим в приискании квартиры и прогулках по городу с Гончаровым, который одержим неистовою страстью бродить по городу и покупать в магазинах разные ненужные вещи. Мы перепробовали с ним сигары почти во всех здешних лучших сигарных магазинах. <…>

Сентябрь 14 (26). Среда. В Дрездене я стараюсь жить по возможности беззаботно и еще хоть в течение нескольких дней не думать об ожидающих меня в Петербурге всяческих заботах и трудах. <…> Усердно гуляем то в Гроссгартене, то на Брюлевской террасе; то я бесцельно брожу по городу с И. А. Гончаровым, который продолжает неистово заниматься покупками — в настоящее время особенно сигар и стереоскопных картинок с видами.

Александр Николаевич Гончаров:

В шестидесятых годах я застал у него слугу, Johann'a, немца, у которого была жена и трое детей, две девочки и один мальчик.

Приходя к Гончарову в десять часов утра, я обыкновенно заставал его в шелковом шлафроке, допивающим чай или курящим сигару. При этом он пилил несчастного Johann'a, заставляя при себе подметать пол и стирать пыль, и высмеивая его, мешая русский язык с немецким. Видимо, это доставляло ему удовольствие, и он пользовался правом хозяина. Несчастный немец кашлял и что-то отвечал. Когда входила в комнату жена его; она спокойно смотрела на работу мужа, спрашивала Ивана Александровича, что нужно купить к завтраку, и бодро и самоуверенно удалялась. Гончаров же продолжал пилить Johann'a и высмеивать немцев.

«Нет, Александр Николаевич, — говорил он однажды, — не поеду я в вашу Германию. Невоспитанный народ эти немцы, вся Германия жрет в 1 час свои габерсупы и котлеты с черносливом; и все там курят грошовые сигары. Я как-то ехал в дилижансе в Карлсбад, а ко мне подсел какой-то немец и закурил свою сигару. Думал я, что сойду с ума, такого дыму напустил этот бюргер, который потом оказался владельцем миллионного состояния, а сигары курил по две копейки за штуку. <…> Наконец, я говорю моему немцу: «Прошу закурить мою сигару» — и предложил ему настоящую Regalia, хорошую гаванскую из купленных мною у Кребса во Франкфурте-на-Майне, первоклассных сигар. Немец закурил и пришел в телячий восторг, спрашивает: «Was kosten die Cigaren?» — Я отвечаю: «25 Thaler». — «Ein Tausend?» — «Nein, ein Hundert»[3]. — Мой спутник опешил и все время смотрел на меня, как на чудо какое-то, и стал называть меня не иначе, как «Herr Baron»; когда мы останавливались, он поддерживал меня за локоть…»

Федор Андреевич Кудринский, *со слов Александры Яковлевны Колодкиной:*

Он в это время (в 1866. — *Сост.)* много курил. <…> Однажды, придя в мою комнату, — говорит Александра Яковлевна, — писатель спросил позволения покурить и удивился, что у меня пепельницы нет.

— Я сама не курю, и никто из курящих в мою комнату не допускается, — ответила я шутливо, — но для вас могу сделать исключение…

Писатель поблагодарил за внимание и, придя в следующий раз, принес и оставил у меня на столе небольшую. правильной формы, отшлифованную перламутровую пепельницу. Эту пепельницу он привез из своего путешествия. Другую пепельницу, в виде краба, он подарил моей сестре.

Александр Николаевич Гончаров:

Дома (в Петербурге. — *Сост.)* стола он не держал, а ходил обедать в Hotel de France.

Алексей Петрович Плетнев:

Третья моя встреча с Гончаровым была случайная, в ресторане гостиницы «Франция» в Петербурге, куда Гончаров ходил обедать в течение нескольких лет подряд. Он сидел на диване перед накрытым столом, углубившись в чтение газеты.

Александр Николаевич Гончаров:

После обеда он обыкновенно очень много ходил (не менее пятнадцати верст в день) и возвращался домой к десяти часам, где его ждал чай.

Николай Иванович Барсов:

Гулять любил он преимущественно в местах малолюдных, — чаще всего его можно было встречать вечером на Дворцовой и Гагаринской набережной или по Фонтанке.

Сигизмунд Феликсович Либрович:

Кто бывал в конце семидесятых годов по вечерам в петербургском Летнем саду, тому нетрудно было заметить двух пожилых уже мужчин, которые с замечательною аккуратностью являлись ежедневно Под вечер, почти одновременно, в сад и в оживленной беседе проводили время до десяти-одиннадцати часов.

В саду в то время существовал, закрытый впоследствии, «знаменитый» в своем роде ресторан Балашева, и вся публика толпилась обыкновенно перед беседкою, в которой играл оркестр музыки, и поблизости. Все же другие, особенно более отдаленные, аллеи сада почти совершенно пустовали.

В одной из таких пустующих аллей имели обыкновение гулять два названные выше господина: один — роста ниже среднего, старичок, другой — мужчина еще не особенно старый, высокий и весьма представительный.

Между этими двумя «отшельниками» Летнего сада, как их называли тогда некоторые из завсегдатаев его, был резкий контраст во внешности. Высокий господин, с гордо поднятою головою, тщательно причесанными большими баками, одетый изящно, даже щегольски, имел вид важного сановника; низенький же старичок, с небрежно расчесанными маленькими седыми баками, опущенною книзу головою, руками, заложенными за спину, в расстегнутом старом, поношенном пальто серого цвета,

скорее походил на какого-нибудь мелкого чиновника. Высокий господин относился, однако, к своему собеседнику с явным уважением, не садился даже раньше на скамью — словом, видимо выказывал ему всяческое предпочтение.

Оба «отшельника», довольно бойко шагая взад и вперед по отдаленной аллее, очевидно, просто даже не замечали, что происходит около них, — так они всегда были увлечены беседой. <…>

Низенький старичок был необычайно скромен. Он почти во всем уступал своему сотоварищу, оговариваясь, что того-то он «не знает», о другом ему «уже трудно судить»…

— Мне трудно что-либо сказать вам на это, — запомнилась мне фраза. — Россию, к несчастью, я знаю очень мало, больше понаслышке, по книгам… Как вы знаете, я живу почти безвыездно в столице… Если же и бывал кое-где в провинции, то так лишь, случайно и мимоездом, и жизни народа мне наблюдать не приходилось…

Заинтересовываясь более и более собеседниками, я только к концу лета узнал, что высокий господин представительной наружности — Дмитрий Васильевич Григорович, а собеседник его — Иван Александрович Гончаров.

Вера Михайловна Спасская:

Он любил Рижское взморье, часто проводил здесь лето и, перебывав на всевозможных заграничных морских купаниях, все-таки находил, что нигде нет тянущегося на такое далекое пространство пляжа, как здесь, такого мелкого, устланного тонким песком дна, такой целебной по своему составу воды. Некоторую досаду возбуждала в нем здесь строгая регламентация дамских и мужских часов для купанья. Ему случалось иногда забыть, что в такой-то час мужчинам запрещается ходить по берегу; он шел гулять, и вдруг его прогонял грозный окрик: «Jetzt ist es Damenstunde!»[4]

Серафима Васильевна Павлова (урожд. Корчевская; 1859 – 1947), *жена физиолога академика И. П. Павлова:*

Он [сказал]:

— Я всегда рано встаю и рано ложусь.

Взгляды и убеждения

Александра Яковлевна Колодкина:

Он особенно часто развивал мысль о том, что молодости дается даром то, к чему как к окончательному итогу стремится наука и искусство… но молодость не умеет ценить своих благ. Эту мысль он обыкновенно закреплял соответствующими выдержками из «Фауста»:

Отдай же годы мне златые,
Когда я сам вперед летел,
Когда я песни молодые
Еще свободной грудью пел…

Он считал Гете великим сердцеведом. Из «Фауста» ему особенно нравилось то место, где Мефистофель спрашивает Фауста: «Каких ты желаешь благ?»… А Фауст отвечает: «Я желаю их всех, потому что желаю молодости»…

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. 20 ноября (2 декабря) 1852. Из Портсмута:*

Дружба, как бы сильна ни была, не могла бы удержать меня, да *истинная, чистая дружба* никого не удержит и не должна удерживать от путешествий. Влюбленным только позволительно рваться и плакать, потому что там кровь и нервы — главное, как Вы там себе, Евгения Петровна, ни говорите противное, а известно, что, когда происходит разладица в музыке нерв да нарушается кровообращение, тогда телу или больно, или приятно, смотря по причине волнения. Дружба же чувство покойное: оно вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании и, царствуя там, оттуда уже разливает приятное успокоительное чувство на организм. Вы можете страстно влюбиться в мерзавца, а я в мерзавку, мучиться, страдать этим, а все-таки любить; но вы отнимете непременно дружбу у человека, как скоро он окажется негодяем, и не будете даже жалеть. — Дружбу называют обыкновенно чувством бескорыстным, но настоящее понятие о дружбе до того затерялось в людском обществе, что это сделалось общим местом, пошлой фразой, и в самом-то деле бескорыстную чистую дружбу еще реже можно встретить, нежели бескорыстную, или истинную что ли, любовь, в которой одна сторона всегда живет на счет другой. Так и в дружбе у нас постоянно ведут какой-то арифметический расчет,

вроде памятной или приходно-расходной книжки, и своим заслугам, и заслугам друга, справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой астрономии и географии или Квинтилиановой риторики, всё еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига, и когда захотят похвалить друга или похвалиться им (эдакой дружбой хвастаются, как китайским сервизом или собольей шубой), то говорят — это *испытанный* друг, даже иногда вставят цифру XV–XX, даже XXX-летний друг, и таким образом дают другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Остается только положить жалованье — и затем прибить вывеску: *здесь нанимаются друзья.* Напротив, про *неиспытанного* друга часто говорят — этот только приходит есть да пить, а чуть что, так и того… и даже ведь не знаешь его, каков он *на деле.* Им нужны *дела* в дружбе — и они между тем называют дружбу бескорыстной, — что это? проклятие в дружбе, такое же непонимание и непризнавание прав и обязанностей ее, как и в любви? Нет, я только хочу сказать, что, по-моему, истинная, бескорыстная и испытанная дружба та, когда порядочные люди, не одолжив друг друга ни разу, разве как-нибудь ненарочно, и не ожидая ничего один от другого, живут целые годы, хоть полстолетия вместе, не неся тягости уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и наслаждаясь дружбою, как прекрасным небом, чудесным климатом без всякой за это кому-нибудь платы. В такой дружбе отраднее всего уверенность, что ничто не возмутит и не отнимет этого блага, потому что основание ее — порядочность обеих сторон. Вот Вам моя теория дружбы, да полно, теория ли только?.. Проследите мысленно все 17 лет (а Вы, Юнинька, 19) нашего знакомства, и Вы скажете, что я всегда был одинаков, пройдет еще 17 лет, и будет то же самое. Я никогда и ни у кого не просил ни рыданий, ни восторгов, а только прошу — не изменитесь.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Портсмут, 8 (20) декабря 1852 года:*

Терпимость — великое достоинство или, лучше сказать, совокупность достоинств, обозначающих в человеке характер, стало быть, все.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. А. Гончарову. Петербург,* 25 *мая (6 июня) 1857 года:*

Если ты продашь дом, то придержись моего совета деньги прятать, и притом на свое имя, чтобы они перешли к детям, а не на имя жены. Я не насчет одной только жены твоей говорю, а

вообще о всех женщинах: разумею так, что чем меньше им доверяешь, тем лучше. Особенно деньги проходят у них сквозь пальцы и быстро обращаются в тряпки. Иная мать или жена и любит мужа и детей, а деньги не убережет, *по легкомыслию и незнанию им цены и в надежде на какие-то будущие, несуществующие блага.* Поэтому деньги прячь и в руки женщинам отнюдь не давай: благоразумных из них, например, таких, *как наша покойная мать, сыщешь немного.*

Иван Александрович Гончаров. *Из письма к Е. П. Левенштейн. Петербург, конец 1860-х годов:*

Родства я близкой связью не считаю, если оно не укреплено симпатией и согласием.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и С. А. Никитенко. Булонь, 16 (28) августа 1860 года:*

Говорят, надо довольствоваться миром и людьми, как они есть: с этим я согласиться но могу. Можно снисходить ко всему этому, пожалуй, с христианской и гуманной точки зрения, даже любить все-таки, несмотря ни на что, но быть покойным и принимать, что это так и должно быть, довольствоваться — я не могу, по тем самым причинам, кои и Вы благоволили заметить во мне. Если нечего уважать или некого, то все-таки во мне этим не уничтожается способность уважения, и если эта способность в человеке есть, если она врожденна, нужна ему, значит есть что-нибудь, что должно быть уважаемо. Но если я не лезу на стену оттого, что все так жалко на сем свете, то, по крайней мере, считаю себя вправе чувствовать ту невольную тоску, холод и немые страдания, переходящие в равнодушие.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Булонь, 21 августа (2 сентября) 1866 года:*

Можно ли любить одну внутреннюю красоту, одну идею ее? Мы и любим совершенство нравственное — на этом основана наша любовь к Богу, как к идеалу этого совершенства. Но это уже любовь нечеловеческая, это — благоговение — и такою любовью христианину только и позволительно любить одного Бога, даже этой любви надо принести в жертву все другие. Да и сам Бог воплотился — и только с появлением спасителя и явилась заповедь *любви* — к Богу.

Мыслящий, наблюдательный ум и человек с глубокой душой, даже не будучи христианином, непременно должен прийти вследствие жизненного опыта к этой мысли и убеждению, то есть к непрочности всех земных привязанностей, в их призрачности, и

непременно воспитает в себе сильное подозрение, что в нас есть что-то, что нас привязывает и призывает к чему-то невидимому, что мы, несмотря ни на какой разврат мысли и сердца, не потеряем никогда этого таинственного влечения, связующего нас с мировой силой.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ек. П. Майковой. Петербург, 16 (28) мая 1866 года:*

Я не стану говорить Вам о нигилизме, т. е. о крайнем воплощении юношеского увлечения: Вы и сами с неуважением отозвались об этом. Но нужна ли вообще — не говорю насильственная, а усиленная и нетерпеливая порывистость к водворению и общественных, и нравственных начал, которых не подтвердил опыт, которых не успела оправдать еще ничья жизнь? <…> Хорошо в мечте устроить человеческое общество из каких-то автоматов без страстей, водворить в нем отправление жизненной машинации, уравнять все социальные и нравственные неровности, — можно даже писать об этом статьи и книги — но делаться сейчас же Исааками остроумной и блистательной доктрины, в практической состоятельности которой не убеждены и сами творцы ее, — это уже и — малодушие и малоумие. Сегодня Сеченов скажет, что только мясная пища питательна, а через пять лет другой Сеченов *докажет,* что питательное начало — только в молоке, а там следующие Сеченовы опровергнут и это, между тем я навалюсь на мясо (что я, сознаюсь Вам, немного и попробовал, да и нажил было себе беду) — и потом не знаю, какими водами отпиться от тяжести и удушья. <…>

Да я во многом стою за новое поколение. Ужели, Вы думаете, меня миновал прогресс? Нет — не я ли печатно уличал старое общество в дремоте? Не я ли еще в 40-х годах, в первой моей книжке, с сочувствием, в лице одного дяди, ругал его племянника за крепостные воззрения и указывал на необходимость труда, не я ли гнал со света другого, живого, племянника, Виктора Мих<айловича>, за гнусную лень и деревенски-барскую избалованность, за стремление пожить на чужой счет, сложа руки, *получать жалованье, служить,* а не работать, не я ли давно терпеть не могу стихов и проповедую, что у нас нет реального и утилитарного воспитания? <…>

Словесное и классическое направление охватило нас и разнежило, нужна здоровая струя охладительной пользы — я опять-таки за это. Но уже никак я не соглашусь, что стыдно заниматься музыкой, или не стану сокрушаться, зачем Пушкин был таков, а не иной, зачем он не писал, как Гоголь или как Антонович <…>.

Ужели во Франции и Англии — фабрики, машины, химия и промышленность, физиология и поэзия, физика и социализм, музыка и живопись — все это враждует, мешает друг другу — и одно отказывает в праве гражданства другому? Утилитарность и реализм — не есть жизнь, а только средство жизни или одно из ее основных и могучих средств: зачем же реализм хотят возвести в такой же утрированный идеал, как прежде возводили искусство?

Молоды мы и, как молодой народ, до глупости впечатлительны и увлекаемся до самопожертвования.

Необходимость серьезного труда, трезвость начал и *местность* в стремлении к ним. Да кто ж отказывается от этого? Нужно ли для Александра Македонского ломать стулья? Ей-богу нет: нужно кое-что изменить, переставить, но тихо, не ломая ничего, не жертвуя ни своими убеждениями, которыми жил всю жизнь, ни даже не изменяя чувствам, которые так или иначе делали нас счастливыми.

Ведь ломать понятия, как это делают юноши, *не пожив,* стараться втискать жизнь в придуманные правила — это все равно, что играть по-детски в войну. «Ты будь, говорит мальчик другому, генералом, ты офицером, вы все солдатами, я пойду против тебя, вот у этого дивана произойдет сражение, ты умри, упади, а ты получи крест». <…>

Так непозволительно играть серьезными интересами и вопросами жизни, даже своими, не только чужими, ломать их в дугу и притом ужасно важничать, коситься на все подозрительное. Да поддается ли жизнь этому? Не предъявляет ли она свои требования — и что потом опыт сделает с этими карточными домиками этих мечтателей, которые не лучше старых романтиков, писавших стихи и прятавших ленточки любимой женщины и всю жизнь проводивших в нежных страстях и голубином воркованьи. Я думал, что Вы все это видите и знаете, и оттого удивился, что Вы нашли что-то новое и неожиданное.

Я только — против умничанья, против хлестаковского *предрешения* жизненных, не испытанных на себе еще вопросов, против этой мнимой простоты, мнимой потому, что жизнь кажется проста не ведающим ее, которые еще не озадачены опытом и потому так бесцеремонно и распоряжаются ею.

Сигизмунд Феликсович Либрович:

Когда заходил разговор о печальных событиях современной русской действительности, о притеснениях, которые переживали и печать и общество, Гончаров всегда вмешивался в разговор и старался доказать, что жизнь вовсе не так плоха, как ее стараются изобразить, и что, во всяком случае, не сегодня-завтра все будет

лучше. В его речах ясно сказывался гончаровский герой Райский, который «все чего-то ждал впереди — не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, а не та, которая окружает его». В этом отношении мнения и взгляды Гончарова резко расходились с мнениями Лескова и других, которые все видели в мрачных красках и которым даже будущая Россия представлялась сплошным, беспросветным, мрачным туманом…

Николай Иванович Барсов:

С Путятиным Гончаров, сколько мне известно, был очень близок и дружен. Этим, может быть, объясняется его всегдашняя любовь ко всему английскому. Графиня, женщина высокообразованная, была природная англичанка, и сам граф долго жил в Англии. В этом прекрасном семействе Гончаров и приобрел, вероятно, свое некоторое англофильство.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. С. Норову. 1853. С фрегата «Паллада»:*

Но всего занимательнее было, по крайней мере для меня, видеть победу англичан над природой, невежеством, зверями, людьми всех цветов, и между прочим над голландцами. Оценив, что сделали англичане в короткое время своего господства над Капской колонией (в Южной Африке. — *Сост.)* и что могли бы сделать и не сделали в двухсотлетнее пребывание там голландцы, не пожалеешь о последних. Девиз их, кажется, везде, куда они ни пробрались: делать мало для себя и ничего для других; девиз англичан, напротив: большую часть для себя, а все вместе для других. Я не англоман, но не могу, иногда даже нехотя, не отдать им справедливости. Теперь на Капе (сейчас Кейптаун. — *Сост.)* кипит торговля, мануфактурная деятельность, по портам ходят пароходы, сквозь утесы проведены превосходные дороги, над пропастями висят великолепные мосты. Это не фразы: я сам проехал по прекрасному, едва конченному шоссе, идущему по горам, в две тысячи футов над уровнем моря, сквозь такие ущелья, куда разве могли только заходить дикие козы, и там смотрел в пропасти с мостов, построенных на каменных основаниях в 70 фут. высоты. Поговаривают, что скоро проложат железные дороги в места, где до сих пор водились только львы да тигры.

Николай Иванович Барсов:

По своим убеждениям, в некоторых отношениях, Иван

Александрович был скорее космополит, чем патриот.

«Народ наш приходится больше жалеть, чем любить, — были его слова. — В целом мире на всем пространстве истории трудно указать другой пример, где бы было большее расстояние между простым народом и культурными классами». <…>

Затем западничество свое Гончаров выражал и в том, что, желая «отдохнуть от зимнего безделья», как он выражался, в дачном времяпровождении, он любил посещать Балтийское побережье — Ревель, Меррикюль, Дуббельн и другие тамошние дачные места; несколько раз, если не ошибаюсь, уже после своего кругосветного путешествия, он ездил и за границу.

«Там порядки лучше, спокойнее и свободнее живется, — не то что у нас, где всякий норовит запустить свою грязную лапу не только в твою домашнюю обстановку, но и в твою душу, в твой внутренний мир».

Вера Михайловна Спасская:

Некультурность русской жизни сравнительно с заграничной глубоко огорчала его. «У нас не посторонятся перед женщиной, находящейся в почтенном положении, — говорил он, — перед женщиной, которой в древнем Риме это положение давало право на особенное внимание и почет. У нас ребенка, который упал и плачет, не поторопятся поднять».

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. М. Каткову. Петербург, 5(17) июня 1857 года:*

<…> В моих правилах никогда не давать слова или, обещав что-нибудь, сделать вдвое…

Федор Андреевич Кудринский. *Со слов А. Я. Колодкиной:*

Говоря о бесспорных преимуществах ума, писатель не без иронии прибавлял всегда со вздохом:

— Конечно, ум… это хорошо… но в ум не поцелуешь…

Вера Михайловна Спасская:

И. А. Гончаров был искренно и глубоко религиозен. Помню, с какой задушевностью передавал он нам содержание своей беседы с священником православной церкви в Дуббельне (своим внешним обликом напоминавшим Николая-чудотворца, как его обыкновенно изображают) на тему одной из его проповедей.

Художественные вкусы

Михаил Викторович Кирмалов:

Иван Александрович, по-видимому, не любил музыки. Такое впечатление осталось у отца после того, как они с Иваном Александровичем слушали «Русалку» Даргомыжского. Отец уговорил Ивана Александровича сходить послушать в «Русалке» певца-тенора Комиссаржевского, восхищавшего тогда, в начале семидесятых годов, весь Петербург. Особенно хорошо у него выходила каватина: «Невольно к этим грустным берегам…» Иван Александрович не сразу согласился пойти послушать оперу, равнодушно просидел третий акт и, нисколько не восхитившись каватиной, ушел до конца оперы домой…

Иван Александрович Гончаров. *Из письма к А. Я. Колодкиной. Август 1866 года:*

Один раз я, увлеченный известным вам бароном, пошел в концерт, в котором участвовала Carlotta Патти, но, прослушав пропетую арию из Верди, ушел, не дождавшись другой.

Вера Михайловна Спасская:

Музыку Иван Александрович слушал с удовольствием, но не всякую. Сладкие звуки Россини легко и свободно вливались в его душу, нежа и лаская ее. Но музыка более серьезного, трагического, так сказать, характера в эти годы уже утомляла, порой даже раздражала его нервы.

Чуть не с отчаянием говорил он о петербургских квартирах, где нет возможности спастись от фортепианных упражнений консерваторок. Что было бы с ним теперь, в эпоху царства граммофонов!

Иногда в разговоре с нами Иван Александрович переносился мыслью к своей жизни за границей, особенно в Париже, к парижским театрам со всем их своеобразным строем, с продажей апельсинов и мороженого в антрактах, с нарядными и учтивыми уврезами.

Александра Яковлевна Колодкина:

[В Париже] в театре Гончаров ни разу не был за все это время. Только раз удалось затащить его на концерт в Елисейские поля… Но концерт, по-видимому, не производил на него никакого впечатления: он зевал и скучал. <…>

Однажды мы гуляли по rue de Rivoli с Иваном Александровичем. Пошел дождь. Нужно было куда-нибудь

скрыться.

— Пойдем в Лувр, — предложил Иван Александрович.

Хотя мы бывали в Лувре не однажды, но этот музей не наскучит, сколько бы раз его ни посещать. Дошли до комнаты, где на пьедестале высится Венера Милосская. Иван Александрович, хотя и не раз ее видел, пришел в необычный для него восторг и, глядя на классическую статую, продекламировал:

Цветет божественное тело
Неувядаемой красой

Ты вся полна пафосской страстью,
Ты веешь негою морской,
И, вея всеподобной властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

Иван Александрович знал наизусть много стихотворений, но декламировал их не особенно охотно. Он был большой эстетик, любил все изящное, цветущее, жизнерадостное и, как выражение жизнерадостности, — молодость.

Александр Николаевич Гончаров:

Он чрезвычайно высоко ставил Пушкина, Белинского и Л. Толстого. О Белинском он всегда вспоминал с большим уважением. Маска знаменитого критика висела у него в кабинете. <…> В Толстом его особенно поражала наблюдательность. Я помню, например, как восторгался он описанием зрительной залы Большого театра в романе «Анна Каренина». Его поражали в этом описании детали. «Ведь десятки раз бывал я в этом театре, — говорил он, — а ничего подобного не замечал. Толстой же, при своей колоссальной наблюдательности, описал все это превосходно, ярко, картинно». <…>

К молодым писателям того времени Гончаров относился крайне враждебно. Он с раздражением говорил о «каких-то Помяловских, Якушкиных, Успенских, которых он не читал и не знал».

Вера Михайловна Спасская:

Из своих современников он более всего восхищался могучим талантом Писемского, хотя и сожалел о недостаточной художественности его формы, и особенно горячими похвалами осыпал его «Плотничью артель». У Достоевского выдвигал на первый план «Записки из мертвого дома».

Сигизмунд Феликсович Либрович:

Гончаров очень интересовался в то время (1870-е. — *Сост.)* также французскою беллетристикою, часто брал у Вольфа французские романы для чтения. Особенно же он увлекался Флобером, зачитывался произведениями этого писателя, предпочитая их всем другим.

— Вот это писатель!.. Вот это я понимаю! — иногда говорил он, возвращая прочитанный роман Флобера, и при этом лицо его сияло таким искренним удовольствием.

Собеседник

Алексей Петрович Плетнев:

Гончаров мог очаровать своей беседой, так мягко и приятно лилась его речь.

Николай Иванович Барсов:

Я никогда не слыхал такого прекрасного рассказчика, он рисовал ряд живых картин, то смешных и забавных, то серьезных и важных, пересыпая их то шутками и каламбурами, то совместными с собеседниками рассуждениями…

Александра Яковлевна Колодкина:

Он обладал способностью одним выражением метко охарактеризовать человека и что угодно.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни, облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных; но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем своей беседы.

Николай Иванович Барсов:

Вообще говоря, заниматься публицистикой и рассуждать о политике, внешней ли или внутренней, Гончаров не любил. <… > Но при рассуждении о некоторых вопросах он обнаруживал иногда горячность и даже партийность.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Нежелание *первому* задевать вопросы литературы и общественной жизни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного *личного* оттенка, за исключением щекотливых пунктов, которые рискованно было задевать с ним.

Анатолий Федорович Кони:

Не менее милым собеседником бывал Гончаров за своими

обычными обедами вдвоем в Hotel de France у Полицейского моста, и в кружке сотрудников «Вестника Европы» за еженедельными обедами у покойного Стасюлевича. Здесь, ничем не стесняемый и согреваемый атмосферой искренней приязни, он иногда подолгу вызывал особое внимание слушателей своими экскурсиями в область литературы и искусства. Скрестив перед собой пальцы красивых рук, приветливо смотря на окружающих, он оживлялся, и в глазах его появлялся давно уже, казалось, потухший блеск.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Хотя Гончаров не любил ничем щеголять в разговоре: ни остроумием, ни глубокомыслием, ни блестящей образованностью, но когда он был в духе, его беседа стояла совершенно на уровне такого писателя, каким он считался. Несмотря на щепетильность и осторожность его натуры, он цельно, искренно и своеобразно высказывался обо всем, что составляло его человеческое и писательское profession de foi[5]. Ни малейшей уступки красному словцу, превосходный, как художник сказал бы, *сочный* тон в рассказе, в описании, в диалектике, с тем оттенком приятного резонерства, какой проник и в лучшие его произведения. <…>

С этим литературным сановником всякому, и самому молодому литератору — повторяю опять: когда он был в духе, — говорилось легко. Вы не слышали ни покровительственного тона, ни генеральских советов; вы не чувствовали и большого расстояния между собой и этим знаменитым представителем старого поколения. Вы стояли с ним на одной и той же почве — на почве общечеловеческой и культурной любви к образованию, науке и нравственным идеалам. Вы вперед видели, что если бы к этой знаменитости, знающей себе цену, обратились вы в разговоре или письме *как писатель*, он ответил бы вам как равный равному, говорил бы или написал бы письмо содержательно и приятно, без сладости и рисовки.

Леонид Николаевич Витвицкий:

Любил говорить о прошлом, давно пережитом и охотно вспоминал различные эпизоды из своего пребывания в дальних странах. Речь его отличалась приятною мягкостью выражений и тонким юмором. В суждениях своих о людях, особенно же о писателях, Иван Александрович отличался крайнею благожелательностью и снисходительностью и, если не мог при всем желании приписать бездарности таланта, то старался, по крайней мере, отметить трудолюбие и добрые намерения. Эта прекрасная черта, редко встречающаяся, не оставляла его и тогда,

когда ему приходилось говорить о писателях, которые далеко не отвечали ему такою же доброжелательностью.

Дела сердечные

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. Ф. Кони. Дуббельн, 11<–17> июля 1888 года:*

Пустяками я, между прочим, назову те *драмы,* героинями которых являются в жизни мужчин — женщины. Женщины, конечно, играют огромную роль, но это тогда весело, удобно, приятно, когда сношения с ними имеют значение комедий. Тогда это придает air fixe[6] жизни, бодрость, игру, живется легко, не мешает делу и делам. Но беда, когда мужчина примет любовь au serieux[7] и начнет любить «горестно и трудно»…

Такие драмы уносят лучшие наши силы, можно сказать, обрывают цвет сил и отводят от дела, от долга, от призвания.

Последнее все я говорю про себя: по своей крайней нервной раздражительности, поклонник, по художественной природе своей, всякой красоты, особенно женской, я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, «небритый, бледный и худой», победителем, благодаря своей наблюдательности, острому анализу и юмору. Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не замечать, как это все вместе взятое глупо и комично. Словом, мучаясь субъективно, я смотрел на весь ход такой драмы и объективно — и, разложив на составные части, находил, что тут смесь самолюбия, скуки, плотской нечистоты — и отрезвлялся, с меня сходило все, как с гуся вода.

Но обидно то, что в этом глупом рабстве утопали иногда годы, проходили лучшие дни для свежего прекрасного дела, творческою труда — словом, для нормальной человеческой жизни. Я и печатно где-то назвал такие драмы — болезнями. Да, это в своем роде сифилис, который извращает ум, душу и ослабляет нервы надолго! Это вовсе не любовь, которая (т. е. не страсть, а истинное доброе чувство) так же тиха и прекрасна, как дружба.

Анатолий Федорович Кони:

Гончаров не любил вспоминать о своей внутренней жизни в прошлом, но из того, что он всегда описывал свою жизнь и то, что к ней прирастало, можно заключить, что он в полной мере испытал то чувство, которое возбуждали его Ольга и Вера, эти превосходные олицетворения того, что Гете назвал das ewig Weibliche[8]. Едва ли он был мучеником своей любви, как Тургенев, или пережил какую-либо тяжелую в этом отношении драму <…>. Но бури в этой жизни, без сомнения, были. Он называл не раз жизнь тяжелым испытанием и часто цитировал по

этому поводу слова Пушкина о «мучительных снах», повторяя: «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет». Во всяком случае, когда я узнал его ближе, в начале семидесятых годов, его сердечная жизнь была в застое. Но сердце у него было нежное и любящее.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарного очерка «На родине»:*

Зимний сезон (1834–1835. — *Сост.)* был в полном разгаре. Город (Симбирск. — *Сост.)* наполнился приезжими из уездов. Начались балы в собрании, у губернатора, у дворян, вечеринки почти во всех семейных домах. Я, как и все тогдашние молодые люди, катался как сыр в масле — с бала на бал, с вечера на вечер. Как я ни увертывался, но мне не раз приходилось играть роль, в которую прочила меня губернаторша. Как я был подставной секретарь у ее мужа, так если не был, то числился подставным ее кавалером. Танцевать с ней мне случалось очень редко: все наперерыв старались ангажировать ее до бала. Мне доставалась эта честь иногда на вечерах у нее самой, когда, уступая арену гостям, она сама оставалась без кавалера.

Я чувствовал, что стал врастать в губернскую почву. Меня тянуло самого то в тот, то в другой дом, где было поживее, повеселее, где меня больше ласкали. <…>

В городе ни библиотеки, ни театра. Приходилось плыть по течению местной жизни. В карты я не играл и не обнаруживал наклонности к ним: за это многие «солидные» люди почти презирали меня. Но зато я, как все молодые, развлекался на балах кадрильным ухаживаньем, с робкими комплиментами, за губернскими девицами или «барышнями», как их тогда называли. И все это под строгим контролем маменек или тетушек, которые, пуще всякой полиции, с материнским расчетом, следили за каждым взглядом и движением танцующих пар. Протанцуешь, бывало, с какой-нибудь «барышней», которая приглянется, мазурку на двух вечерах сряду, начнешь заезжать в дом — губернаторша уже посматривает насмешливо.

— Вам нравится Лиза Р-вая? — бесцеремонно, по-начальнически спросит.

— Да, она хорошенькая.

— А еще что?

— Еще?.. умна, любезна, держит себя просто…

— Прибавьте еще, не скупитесь… — И смеется.

<…> Войдет губернатор.

— Правда ли, что вы влюблены в Р-ую? — хватит вдруг при всех.

— Я! помилуйте!

— Уж признайтесь лучше! — шутит губернаторша.

И три дня город говорит, что я влюблен в Р-ую. И дома пытают меня, шутят надо мной. Мать моя принимает это серьезно, шепотом предупреждает, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нее — ехидная, «и притом гордая, прочит дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача и за тебя не отдаст».

— Вон куда пошло! Да разве я жених кому бы ни было! — Я готов был <…> приложить ладони к вискам и бежать к себе вверх, на «вышку», прятаться за книгу.

Это повторялось раза три в зиму, и я не знал, как бы мне выбраться на свободу.

Михаил Викторович Кирмалов:

По нашим семейным воспоминаниям завязка романа Ивана Александровича и Варвары Лукиничны (Лукьянова, в замужестве Лебедева. — *Сост.)* относится ко времени приезда Ивана Александровича в Симбирск. Авдотья Матвеевна (мать Ивана Александровича) поместила его в комнате верхнего этажа близко от комнаты, занимаемой Варварой Лукиничной. В этой обстановке, очевидно, произошло сближение. При отъезде Ивана Александровича, когда он прощался с домашними, Варвара Лукинична, не выдержав горя разлуки с любимым человеком, с воплем: «Ваня, Ваня!..» бросилась в присутствии всех ему на шею.

Не знаю, продолжалась ли связь по приезде Варвары Лукиничны в Петербург. Она впоследствии вышла замуж, и муж ее терпеть не мог Ивана Александровича; часто со злобой спрашивал отца: «Ну, что ваш действительный статский советник, как поживает?..»

Вера Михайловна Чегодаева (урожд. Дмитриева; (1844-?)), *княгиня — внучка московского поэта М. А. Дмитриева и родственница поэта и баснописца XVIII в. И. И. Дмитриева:*

По смерти моего дедушки бабушка Елизавета Ивановна Рудольф, поместив своих сыновей в корпус и младшую дочь Екатерину в институт, сама с двумя старшими дочерьми Аделаидой и Эмилией переселилась в Петербург.

По сохранившимся семейным преданиям, Елизавета, Аделаида и Эмилия были теми лицами, портреты которых вошли в роман И. А. Гончарова «Обрыв».

Елизавета Ивановна Рудольф зиму проводила в Петербурге, а на лето уезжала на дачу, в Стрельну или в Ораниенбаум. Как в городе, так и на даче у них постоянно бывал И. А. Гончаров,

проводивший у них целые дни, ухаживавший за Аделаидой и Эмилией, кажется, увлекаясь то той, то другой. <…>

В Петербурге Иван Александрович в семье Рудольф был всегда желанным гостем и относился к девицам Рудольф весьма внимательно. Читал свои и чужие произведения, доставал им билеты в оперу, показывал достопримечательности столицы и ее окрестностей (возил их, между прочим, на фарфоровый и стеклянный заводы), вообще, что называется, нянчился с ними. Он часто говорил их матери, которую называл то Елизаветой Ивановной, то, как называли ее дочери, «маменькой»: «Нет, Елизавета Ивановна, это необходимо показать кузинам», или: «Нет, маменька, с кузинами непременно надо съездить туда-то» и т. п. Вообще он покровительствовал им, часто говоря, особенно Эмилии: «Ах, как вы еще молоды и неопытны, кузиночка…» Особенно он увлечен был старшею из них, Аделаидой Карловной, привлекавшею его как своим развитием, начитанностью, так и исканиями «пылкой девичьей души». Это прототип Веры из «Обрыва», тогда как простодушная Эмилия послужила ему натурой для Марфиньки. Первая была выдающаяся красавица, а вторая уже в тринадцать-четырнадцать лет имела вид совершеннолетней.

В семье Рудольф познакомился Иван Александрович и с красавицей, их кузиной, Е. И. Э., которая с своей семьей приезжала на зиму в Петербург из Смоленской губернии. Она, как и Аделаида Карловна, обращала на себя внимание на балах своей красотой, но это была бессловесная красавица. Первым браком она была замужем за кн. Др. С-м, с которым, однако, разошлась, и вышла за своего двоюродного брата, по фамилии тоже Э. Ее черты — в Софье Беловодовой.

В Петербурге семья Рудольф жила в доме Каменецкого, у которого была дочь Марфинька. Она была влюблена в Ивана Александровича, не пользуясь с его стороны взаимностью. Это была некрасивая девушка, слабого здоровья, постоянно кашлявшая, заика, но очень умная и интересная собеседница. Летом, на даче, из окна своей комнаты она целыми вечерами смотрела на освещенные окна дачи Рудольф, где засиживался до поздней ночи Иван Александрович. Только имя ее попало в «Обрыв», так же как и мое имя: когда в 1844 году, в Симбирске, в Троицкой церкви, его брат Николай крестил меня, Иван Александрович сказал ему: «Ты дай это имя своей крестнице, а я назову им героиню своего будущего романа, если не поленюсь его написать». По сведениям, которые до меня дошли, Иван Александрович вообще пользовался большим успехом у женщин, но чем объясняется этот успех — для меня неясно. Несомненно,

что он умел настоятельно и усиленно ухаживать, быть интересным, увлекать своими разговорами, прекрасным чтением и т. п. Но обычно он не доводил своих ухаживаний до конца, какая-то осторожность, недоверчивость к себе и другим удерживала его от того, чтобы сойтись с женщиной или жениться на девушке. Если же предмет его выходил замуж, то у него вспыхивала какая-то неосновательная ревность к сопернику. Имел место, между прочим, такой случай. В него была влюблена молодая девушка, гордость которой делала ее сдержанной, но есть основания полагать, что Иван Александрович знал об этой любви. Для нее он был идеалом.

Выйдя замуж за другого, она вошла было в колею семейной жизни, свыклась с мужем и была хорошей женой. Через четыре-пять лет после этого она вновь встретилась с Иваном Александровичем, и это смутило ее покой: снова вспыхнула прежняя страсть, которой она не могла преодолеть. Она уже не могла больше жить с мужем и оставила последнего, предполагая, вероятно, что Иван Александрович догадается, что с ее стороны — это жертва ради него. Но он не догадался или сделал вид, что не догадывается, и молодая женщина бросилась в воду. Когда ее спасли, то на ее груди нашли связку писем Гончарова. Говорят, до конца жизни она была верна этой любви… Я думаю, что если бы она, преодолев свою гордость, сама первая призналась ему в любви, то, вероятно, получила бы такой же ответ, как Татьяна от Онегина. Так же безрезультатными были его ухаживания за «кузиночками».

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. В. Толстой. Петербург, 3(15) ноября 1855 года:*

Мне — любить? Вдруг сказать ей *я люблю*? Что так хорошо звучит в устах молодости, то в моем голосе задребезжало бы дико. Нет, нет, я не люблю, прочь, прочь эта мысль! Это лукавый искушает меня. Исчезни, исчезни, окаянный! — Чур меня, чур меня, Господи, Господи! Да воскреснет Бог и расточатся врази его!!!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Булонь, 21 августа (2 сентября) 1866 года:*

Бывают в любви моменты такого лирического настроения, которые в романах называются *немым обожанием*, но это очень в ранней молодости или в зародыше страсти, на ее заре. Это первые лучи, предвещающие жаркий полдень и грозы. Вы думаете, что это чувство, или, лучше сказать, такая мечта выходит из сердца, а не из воображения: нет, из воображения, и

притом юного и неопытного. Все это разлетится вдребезги, лишь только такое *немое обожание* уверится во взаимности и перейдет в дальнейший фазис, то есть в любовь, в тихое, мирное, глубокое и прочное счастье, если обе натуры неиспорчены и симпатичны — и тогда это разрешается в постоянный покой, в дружбу, в согласие, в *совет* и *любовь* — и все заснет. Поэзия и иллюзии в самых поэтических натурах не могут продлить обаяния первых минут этой зари, лучей *немого обожания* — навсегда; воображение самый неугомонный деятель: он или будет дразнить новизной, или надо обманывать, усыплять его, сдерживая умеренно себя, то есть гомеопатически лакомясь этим счастьем, иначе оно заснет и утонет в ежедневной, безразличной жизни и смешается с ежедневными явлениями. Настает привычка и скука. (Я здесь, однако, делаю оговорку. У меня впечатлительная натура и много поэзии: может быть, холодные, рассудочные натуры подлежат другим законам.) Если же *немое обожание* (как бывает большею частию) обманется и, вступив в борьбу, бросится в пучину, сначала облопается счастьем, и чем больше облопается, тем сильнее потом страдает от разочарования и иногда даже гибнет. Страсть только тогда наступает, когда она разделена, или когда польщена надеждой на взаимность и обманута, или когда она опять-таки разделена и встречает препятствия к удовлетворению, ибо борьба тогда и возникает, когда у Вас отнимают то, что Вам принадлежало, что Вам дали, что Вы считали своим. А без борьбы — страсти нет.

Вы говорите, что я не знал страстей, а *играл в любовь,* а если б не знал любовь, то знал бы, что она *проста и истинна без приудариваний и прихорашиваний.*

Так-с. Почему ж Вы знаете мои страсти? Почему Вы знаете, что именно отчаяние не найти *истины* и *простоты,* а все ложь и ложь — и не заставляет меня с гримасой смотреть на все и вся? <…>

Да, в любви *обман* невозможен, и оттого влечение друг к другу и сближение редко доходит до любви, а оканчивается — у кого страстью (у людей серьезных), у кого страстишкой (у пустых людей), или, наконец, капризом, прихотью, польдекоковским романчиком или так называемой интрижкой, в которой много виноватых и из того и из другого разряда благодаря распущенному воспитанию и развращению нравов. «Зачем не идти прямо к истине, а неосторожно, на каждом шагу попадать в ложь? Надо искать добра, честного, умного» и т. д., говорите Вы часто.

В любви ничего *не ищут,* если не разуметь под любовью какую-нибудь абстрактную идею, а не человеческое, живое,

органическое чувство и отправление этого чувства, совершающееся в нашем организме, а не превыше облаков.

Как скоро Вы допустите, что мы люди и носим тела, имеем пять чувств и что этими чувствами формируйся и передается душе впечатление, так Вы должны тотчас же допустить, что всякое представление, идея — должны быть воплощены в какой-нибудь форме. Отсюда идея о красоте — и потребность красоты: эта потребность высокая, свойственная только человеческой природе и которой у животных нет. А допустивши это — позвольте спросить — как Вы перейдете к Вашему страстному настроению иначе, как не через воображение, которое одно заведывает и управляет всеми впечатлениями? Стало быть, только одним холодным сознанием, что вот, мол, это хорошо, честно, умно, следовательно и надо любить это! Нет, извините: это честное, умное является Вам в образах, которые Вы и любите в их плоти, а идей любить нельзя, их можно сознавать. Оно же, то есть воображение, и виновато, что обматывает красотой внешней на каждом шагу, заставляя нас, слепцов, предположить за нею и внутреннюю красоту. От этого разлада и — страсти, обман, разочарования.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. И. Льховскому. Варшава, 13 (25) июня 1857 года:*

Ну, что Вы? Все любите *горестно* и *трудно*? Одно практическое замечание, весьма полезное для Вас: когда мучения ревности и вообще любовной тоски дойдут до нестерпимости, наешьтесь хорошенько (не напейтесь, нет, это скверно), и вдруг почувствуете в верхнем слое организма большое облегчение. Это совсем не грубая шутка, это так. По крайней мере, бывало, я испытывал это.

Холостяк

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Через несколько дней, на вечернем чае <…>, он очень долго рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исключительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. А. Кирмаловой. Петербург, 5(17) февраля 1863 года:*

Мимишка здравствует и каждый день гуляет со мной по саду, а когда не возьму, то воет на всю квартиру. <…> Я ей купил золотой с бархатом ошейник.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма В. М. Кирмалову. Петербург, 26 апреля (8 мая) 1863 года:*

Если Мимишка сильно захворает, я думаю, в тот день и газета не выйдет («Северная почта», редактором которой был в это время Гончаров. — *Сост.),* а если бы она околела, я все продам и уеду за границу.

Ростислав Иванович Сементковский (1846–1918):

Гончаров приводил к Льховским неизменно свою собачку. Это был не то мохнатый пинчер, не то шпиц (я плохо тогда различал породы собак), во всяком случае, собака небольшая, мохнатая, чистенькая, с умными глазами. Она ни на шаг не отходила от своего хозяина, стояла около него, когда он стоял, ложилась, когда он садился, свертывалась калачиком, когда он вел продолжительную беседу; в кабинете у Льховского, когда дверь открывалась, я видел ее всегда мирно спавшую у ног своего хозяина, в гостиной она всегда была начеку, хотя признаков какого-нибудь беспокойства никогда не проявляла.

Когда Гончаров в одно воскресенье вошел в гостиную, Елизавета Тимофеевна, лукаво взглянув на него исподлобья, спросила:

— Ой, не пора ли? Ведь и опоздать можно.

Разговор, очевидно, касался темы, уже раньше между ними затронутой.

Улыбка, игравшая на подбородке Гончарова, исчезла, красивые его глаза стали печальными.

— Давно опоздал, Елизавета Тимофеевна, — ответил он.

— Мне, как женщине, виднее, — возразила Льховская, — но

терять времени не следует.

По лицу Гончарова пробежала такая густая тень, что Елизавета Тимофеевна была озадачена — я это ясно видел, — а мне стало как-то жутко. Тень быстро сменилась печальною улыбкою, и Гончаров сказал, указывая на свою собачку:

— Вот верный друг! Он не изменит… не обидит.

И, словно устыдясь чего-то, он быстрее обыкновенного поклонился Елизавете Тимофеевне и исчез вместе с своей собачкой за дверью кабинета.

Леонид Николаевич Витвицкий:

Иван Александрович прожил всю жизнь свою холостяком; во время его пребывания в Дуббельне при нем находились обыкновенно дети, о которых он говаривал, что они приняты им на воспитание. Относился он к ним с необычайною теплотой, и они составляли немалую усладу его тихой жизни на закате дней.

Серафима Васильевна Павлова:

При организации курсового литературного вечера мы стремились собрать всех наших литераторов. Хотелось, чтобы было чем вспомнить веселые годы учения, когда мы разъедемся в отдаленные углы обширного отечества.

Были мы у Щедрина. <…>

От него мы поехали к Гончарову, который жил на Моховой, в первом этаже. Нас ввели в большой уютный кабинет. Вышел старичок, очень чистенько одетый, с ласковой улыбкой, и сказал:

— Здравствуйте, деточки! Прежде всего позвольте вас угостить конфетками.

Когда мы отрекомендовались как депутатки от курсов, он схватил себя за голову обеими руками.

— Пожалуйста, не пугайте меня! Мы лучше поговорим с вами попросту, по-семейному. Сядем, закусим конфетками, — сказал он, кладя себе одну конфетку в рот, — и поговорим. Вы хотите, чтобы я публично читал на вашем литературном вечере? Я совсем не умею читать, и никогда не выступал публично. Я могу испугаться так, что убегу с эстрады, и выйдет скандал. А я не скандальник. Лучше мы сделаем так: я на вечер возьму билет (он выложил при этом 25 рублей), а приеду к вам позже, когда вы успокоитесь после своего вечера, приеду в гости к вашему курсу, который так ласково меня вспомнил. Вы угостите меня чаем, а я вам почитаю.

Действительно, вскоре после литературного вечера Иван Александрович написал нашей начальнице письмо, в котором просил собрать наш курс в аудитории в известный день и час и

напомнил, что мы обещали угостить его чаем.

Он был точен и приехал со своим личным секретарем. Прошелся по нашим курсам, осмотрел аудитории, вошел в зал, где был сервирован чай, и сказал:

— Вот отлично! Лучше всего беседовать за чайком.

Он стал спрашивать, кто и откуда приехал, какие мысли и желания привлекли нас сюда и нашли ли мы здесь удовлетворение. Прочел нам отрывок из «Литературного вечера». Читал он действительно неважно.

Вера Михайловна Спасская:

Не могу, с другой стороны, вспомнить без улыбки один маленький инцидент, очень характерный для Ивана Александровича. К нашей компании (летом 1881-го в Дуббельне. — *Сост.)* нередко присоединялась одна молодая дама из Майоренгофа. Мы познакомились с ней случайно, в дороге. С очень эффектной наружностью, высокая и стройная, она, отчасти вследствие своего полунемецкого происхождения, отчасти как провинциалка, была несколько эксцентрична в своих туалетах и немножко жеманна и манерна. Однажды мы сидели в парке с Иваном Александровичем, слушая музыку; с нами была и эта дама, сидевшая немного поодаль. Вдруг, в антракте, изящно перегнувшись к писателю, она громко спрашивает его: «Monsieur Гончаров, вы женаты?» Надо было видеть, какой испуг отразился на лице милого старичка! Он поднял обе руки и, как бы отмахиваясь от какого-то страшного призрака, энергично запротестовал: «Нет, нет! Никого! Никогда!»

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. 1(13) июля 1859. Из Мариенбада:*

Между прочим, у меня явилось занятие — здесь водятся змеи, и я с палкой откапываю их гнезда и уже двух казнил, и это развлечение!

С детьми

Гавриил Никитич Потанин:

Даже с дворовой мелюзгой он находил удовольствие играть. Подхватит с полу какую-нибудь четырехлетнюю Машутку-соплюшку, усадит на колени, даст играть часы, кошелек, насыплет перед ней кучу конфет, поставит банку варенья и начинает угощать. Машутка ест до того, что начинает пыхтеть и наконец объявляет решительно: «Будет, барин, больше не хочу». — «Еще хоть ложечку! Да кланяйтесь, Гаврила Никитич, хоть вы, — у меня нет жены». Машутка отворачивается от варенья. — «Ну, ну, Маша, утешь меня, понатужься еще». — «Мама! Что барин пристает!» — ревет наконец гостья. Барин бросает ложку, вскидывает Машутку на плечо, садит на шею и мчится по всем комнатам. Машутка вместо слез начинает хохотать, а барин очень доволен, что утешил Машутку. В это время он казался мне самым нежным отцом, да, верно, то же он чувствовал и в себе.

Михаил Викторович Кирмалов:

Первые мои воспоминания об Иване Александровиче относятся к 1870–1871 годам, ко времени моего детства.

Дедушка часто брал меня и сестру с собой при посещении Ивана Александровича. Звать его надо было дядей, ибо звание дедушка он не любил. <…>

Иван Александрович иногда читал нам басни (Крылова. — *Сост.)* и показывал «картинки», иногда дарил нам безделушки; так, я получил от него перочинный ножичек-брелок и трость из его большой коллекции тростей, собранной со всех стран земного шара. Коллекция эта в виде объемистой пачки покоилась на двух кронштейнах над его кроватью.

В это же время его посещала и Варвара Лукинична, служившая в институте, с своими двумя детьми. Мальчика за его тонкую и высокую фигуру он шутя называл «макароной». Но внимания он заметно больше оказывал девочкам.

На рождество он устроил у себя для нас елку. <…> В кабинете на круглом столе стояла маленькая елка, а под ней подарки детям, и среди них — хрустальная сахарница в виде сердца.

Иван Александрович был оживлен, ласков и шутлив с детьми. Усадив нас и Мимишку вместе на диване, он стал вызывать всех по очереди и вручать подарки. Первая была вызвана Мимишка, получившая сахарницу, и тут же, стоя на задних лапках, съела из

рук Ивана Александровича кусочек сахару. Всех детей Иван Александрович оделил дорогими и интересными подарками: игрушками, книгами и прочим.

Александр Николаевич Гончаров:

В конце 1868 года я случайно встретил его в Петербурге, в пять часов вечера, и он пригласил меня пройтись вместе. Пройдя Литейную, мы пошли по Невскому, по направлению к адмиралтейству. В окне магазина Avanzo была выставлена картина, и возле витрины стояли два мальчика. Я засмотрелся на картину, но вдруг слышу шипение дяди: «Пойдем, пойдем, пойдем скорее…» Дорогой он объяснил мне свою поспешность тем, что мальчики, быть может, были подосланы и могли заговорить с нами, а затем донести, что мы приглашали и совращали их… Всю дорогу он говорил мне об этом, рассказывал, что в Петербурге этот порок распространен, и что один крупный чиновник был даже изловлен градоначальником Треповым.

Благодетель

Анатолий Федорович Кони:

В течение многих лет у него служил камердинером и заведовал его домашним хозяйством честный и усердный курляндский уроженец. В конце шестидесятых годов он умер скоропостижно, и Иван Александрович, соболезнуя положению его вдовы с тремя малолетними детьми, оставил ее служить у себя, предоставив ей маленькое помещение через площадку лестницы своей квартиры, и заменил ею умершего ее мужа в домашних заботах о своем маленьком хозяйстве старого холостяка. С годами, когда стали подрастать дети, сердце Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особливо к старшей девочке, глубоко и трогательно. Его заботам, просьбам, материальным жертвам, ходатайствам, письменным и словесным, эти дети были обязаны своим воспитанием и образованием в средних учебных заведениях, за чем он следил с исключительным вниманием. Возможность дать им средства, чтобы подышать чистым воздухом и укрепить свои силы где-нибудь на даче или на берегу моря, сердечно радовала старика, которому в этом нередко помогали дочери его старого друга А. В. Никитенко. И в этой вполне бескорыстной привязанности Гончаров дошел до крайних пределов. Заботы о детях, их мысли, чувства, привычки, складывавшиеся особенности характера, шутливые и нежные прозвища, им даваемые, наполняли его жизнь, вплетались в его беседу. Внимание их, ласка Сани (так звали старшую из них) вызывали горячую благодарность с его стороны. Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. А. Толстой. Петербург, 21 июня (2 июля) 1878 года:*

Что касается до моих личных, псевдосемейных дел, где на меня, вдруг, как камень, упали заботы и обязанности попечителя и распорядителя судеб чужого семейства, то позвольте заметить, что «самоотвержение и любовь к ближнему», на которые Вы основательно указываете, как на святые и великие мотивы, «для которых только и стоит жить», — к сожалению, оказываются на практике не вполне достаточными, и я охотно разменял бы их на рубли, если б была такая биржа или рынок, на которой любовь к ближнему, сострадание и участие и т. п. сентименты имели курс и цену. Будь у меня, например, вместо любви к ближнему, — тысяч пятьдесят, я, без всякого самоотвержения, а только по

одному покойному сознанию долга, пристроил бы легко и удобно детей в учебные заведения и дал бы кусок хлеба вдове. А вот теперь — я с самоотвержением учу их по-русски, читать, писать, считать, смотрю, чем они питаются, есть ли обувь — и т. п. — и если все это скудно, плохо — я с самоотвержением пожимаю плечами, волнуюсь, хлопочу. — И все выходит не то, если б… 50 тысяч в кармане в добавок к самоотвержению!

Но так как их нет, то я и остаюсь при одном самоотвержении, с надеждами на Бога и неизвестное будущее — и еще с печальным сознанием, что если тучи носятся над головами всех *без исключения,* то конечно должны носиться и над моей.

Вера Михайловна Спасская:

Иван Александрович жил на отдельной даче (летом 1881-го в Дуббельне. — *Сост.),* с тремя детьми своего умершего слуги, которых всюду возил за собой, трогательно о них заботясь. Старшей девочке было лет одиннадцать, младшей — девять или восемь, мальчик был, кажется, еще меньше. Все трое весело резвились на кругу и компании других детей. Помню как сейчас тоненькие фигурки и красных платьицах и белокурые головки этих двух девочек, особенно умильное личико младшей, когда старичок писатель любовно шутил с ней, называя ее в виде ласки лягушонком. Мать сирот жила при них и прислуживала Ивану Александровичу. «Иногда мне курочку изжарит», — сказал он как-то, выражая свое недовольство немецкой кухней.

Мы предлагали позаняться с детьми, но оказалось, что он сам ежедневно занимается с ними русским языком и арифметикой и читает им Евангелие. <…> С удовольствием, но без малейшего следа тщеславия или кичливости рассказывал нам Иван Александрович, как в Петербурге высочайшие особы балуют детей, дарят им куклы и другие игрушки. Как известно, Гончаров дал этим сиротам законченное образование, старшую девочку поместил в консерваторию и сделал впоследствии всех троих наследниками своего состояния.

Михаил Викторович Кирмалов:

В средине восьмидесятых годов Иван Александрович был занят заботами о детях своего покойного слуги. Приходилось хлопотать, ездить к начальству учебных заведений. Конечно, для Ивана Александровича делали все, о чем он просил; но в готовности разных лиц сделать ему угодное он чутким и подозрительным ухом улавливал уверенность в том, что он хлопочет за своих детей. «Вот, насбирали по лакейским и девичьим сплетен и считают этих детей моими», — возмущался

он, идя с отцом и мною по Невскому.

«Вот принял на свои плечи чужую семью, увеличились расходы, приходится стеснять себя; теперь рубль представляет для меня эпоху». Это, конечно, обычное брюзжание старика, ибо детей он любил, и сильно.

Михаил Матвеевич Стасюлевич:

В запечатанном письмо, найденном в его столе, на наше имя, от 9 октября 1886 года он дает, между прочим, разъяснение всем своим посмертным распоряжениям; понимая, какую он мог оказать плохую услугу «тройке детей» — его собственное выражение, — дав им солидное среднее образование и не позаботившись в то же время о том, чтобы «поддержать их на первых шагах жизни», Иван Александрович Гончаров оставил им свое денежное имущество и движимость, кроме кабинета «с запертыми в нем помещениями», относительно чего он сделал особое распоряжение; в этих помещениях, как он говорит в письме, нет ничего ценного в имущественном смысле.

Гастроном

Александр Николаевич Гончаров:

Тетушка (Анна Александровна Музалевская, сестра Гончарова. — *Сост.)* сделала все, чтобы угодить своему знаменитому «братцу», известному писателю, притом такому, который и с министрами знаком, и у Великих Князей бывает. <…>

Иван Александрович приехал (летом 1862-го, в Симбирск. — *Сост.)* и остался всем доволен. <…>

Но жирные стерляди, бекасы, дупеля, соусы из уток и кулебяки из осетрины с визигой оказали свое действие на Гончарова, привыкшего к умеренным обедам в Hotel de France и к легким обедам крупных петербургских чиновников: он стал прихварывать, делался капризным и начал скучать по Павловску и Царскому Селу. <…>

«Что это, — говорил он Анне Александровне, — у тебя за повар? Ведь какой-нибудь Собакевич или Петух может a la longue[9] безнаказанно сносить такие обеды; а я человек кабинетный, скромный петербургский чиновник, не симбирский житель, не могу ежедневно переваривать эту волжскую благодать». Музалевская, соображаясь со вкусами знаменитости, изменила menu обедов и завела «французскую кухню»: появились бульон, «пожарские котлеты», соусы из раковых шеек и т. п. Поесть вкусно и с толком Гончаров умел, но он не признавал за поваром Анны Александровны французского искусства <…>.

«Вот в Париже, — говаривал он после сытного обеда, — в Hotel de Nice, меня кормили точно французской кухней: и вкусно, и сытно, и легко; морская рыба имеет свой привкус и особый, не вредный, жир, и пулярки превосходны; о пирожном я и не говорю: его можно есть только в Париже; а эти изумительные vol-au-vent garni[10]! Это кушанье заказывали для меня у Palissier… У наших поваров нет вкуса, нет изящества, нет школы и таких кулинарных преданий».

Михаил Викторович Кирмалов:

Раз он пришел к нам тотчас после нашего обеда и, торопясь куда-то, наскоро у нас закусывал. Мать неуверенно предложила ему к жаркому кислой капусты, прибавив, что после обедов в Hotel de France он, вероятно, не захочет есть такое кушанье. «Отчего же? Капуста — это букет обеда», — ответил Иван Александрович и с аппетитом покушал капусты.

Александр Николаевич Гончаров:

Иногда он завтракал дома в одиннадцать часов, причем почти весь завтрак состоял из двух яиц и сыра. Однажды, помню, он приказал подать после завтрака вчерашние фрукты, виноград и апельсина три-четыре.

Серафима Васильевна Павлова:

Одна из молоденьких слушательниц, очень наивная девочка, спросила его:

— Почему вы в «Обломове» так часто упоминаете о кардамоне?

Он засмеялся:

— Да потому, дорогая, что я сам очень люблю кардамон.

Александр Николаевич Гончаров:

Как-то раз он пригласил меня обедать в Hotel de France. Нам подали полбутылки красного вина стоимостью в 2 р. 50 к. На его вопрос, как я нахожу вино, я ответил, что не нахожу ничего особенного: вино, как вино, кажется, недурное. Достаточно было этих слов, чтобы выслушать от Гончарова бесконечное нравоучение: «Я не понимаю, Александр Николаевич, как вы не можете отличить прекрасного, тонкого, выдержанного вина от бурды, которую пьют в разных кабаках петербургские чиновники. Ведь если бы вы были бурлак, неуч, а то вы и по-французски хорошо говорите, даже немецкую литературу знаете, бываете в порядочном обществе, а говорите, будто из Симбирска никогда не выезжали. Я, право, не могу вас понять. Вино это тонкое, и хозяин гостиницы подает его далеко не всякому. Мало того, что в Бога не верить да знать, что человек произошел от обезьяны, а надо быть благовоспитанным человеком, т. е. уметь себя держать и знать толк в вине и в хороших сигарах».

Дмитрий Николаевич Цертелев:

Надо сказать, что сам Гончаров не только водки, но решительно никакого вина не пил и за обедом только изредка разрешал себе рюмочку ликера.

Жилье

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и И. А. Майковым. Петербург, 20 ноября (2 декабря) 1852 года:*

Вы помните, я никогда не заботился о своей квартире, как убрать ее заботливо для постоянного житья-бытья; она всегда была противна мне, как номер трактира, я бежал греться у чужой печки и самовара (высоким словом — у чужого очага), преимущественно у вашего.

Александр Николаевич Гончаров:

Последние тридцать лет Иван Александрович жил на Моховой, в доме Устинова. За квартиру он платил чуть ли не 25–30 руб. в месяц, хотя она стоила не менее 100 руб. Он говорил, что М. М. Устинов не желал брать с него более того, что назначил его отец.

Михаил Викторович Кирмалов:

Помню хорошо расположение комнат в его квартире (старой, до переделки. — *Кирмалов,* нач. 1870-х. — *Сост.)* в доме Устинова на Моховой. Комнаты небольшие. В кабинете перед столом у окна стояла высокая подставка деревянная, вроде складного стула с натянутой сверху материей, на которой постоянно лежала книга: большого формата издание басен Крылова, причем иллюстрации к басням были не в звериных, а в человеческих лицах.

Гавриил Никитич Потанин:

Квартира Гончарова отчасти была знакома мне прежде, но в ней прибавилось много нового. Новый письменный стол на толстых медвежьих ногах и свежая медвежья шкура под столом; вольтеровское кресло, обитое зеленым бархатом; на столе богатая чернильница с крышкой, ручки перьевые слоновые, золотые, эмалевые и бисерные — подарки барынь, и прелестный, акварельный портрет Варвары Лукинишны, прежней, красивой, молодой, в бархатной рамке. На правой стене большой портрет красивой женщины, писаный масляными красками, в богатой золотой раме — племянник (Гончарова, Виктор Кирмалов. — *Сост.)* пояснил, что портрет этот подарен стариком Майковым (академиком живописи. — *Сост.)* за детей, которых учил Гончаров; на левой стене прекрасные гравюры: типография Гуттенберга, наша старая славянская печатня и друкарня, а на задней — много этажерок загроможденных японскими вазами,

китайским фарфором, уродливыми китайскими куклами, шкатулками и ящиками слоновой кости, изящной филигранной работы — все это из путешествия по Востоку.

Вторая комната гостиная; там роскошная мебель, обитая малиновым бархатом, превосходного рисунка гардины, на столе плюшевая скатерть, богатая лампа и два роскошных альбома: один с фотографическими карточками знакомых, другой — умолчу с чем. Над диваном висел портрет современного Гончарова, но это был жалкий портрет! Совершенно ветхий старик с белой бородой, страшно бледный, худой, с темными кругами вокруг глаз, — он посажен в профиль и правой рукой закрывает свой больной глаз. «Не много же осталось от прежнего Гончарова», — подумал я с горечью и пошел смотреть редкости Востока.

— Любуетесь? — спросил Виктор.

— И стоит, голубчик! Я кое-что прежде видал, но таких сокровищ нигде не встречал! У самого Ковалевского нет того, что у дяди твоего.

Но в то же мгновение, в группе самых дорогих ваз, я увидал такую старую, измятую жестяную коробку, что чуть не крикнул от удивления: это что такое? Как сюда попала?

— Это, батюшка, Гаврила Никитич, самая драгоценная вещь в кабинете моего дяди: он готов отдать за нее все эти черепки, которые видите тут!

— Не понимаю!

— Это та самая коробка, из которой он у матери сахар воровал.

— Что ж он теперь об ней думает?

— Вспоминает, как нам, «ребятам», весело было тогда жить.

— А что, по-прежнему насыпана сахаром?

— Нет, по-новому: дядя хочет насыпать червонцев и подарить…

— Кому?

— Не знаем, кому, не сказывает — секрет…

Елизавета Александровна Гончарова:

Мы были у него с мужем, на Моховой, с визитом (1883 год). За это время он сильно подался, постарел, плохо видел на правый глаз и потому сидел спиной к свету в кабинете, около своего письменного стола, на котором красовалась большая роскошная, серебряная, вызолоченная чернильница, с эмалью и инкрустациями; весь письменный прибор к ней и подсвечники — подарок императора Александра III. Кажется, ему очень льстило внимание государя, и он охотно рассказывал подробности самого

торжества этого подношения.

Виктор Иванович Бибиков:

Около сорока лет Иван Александрович живет в доме Усти[нова] на Моховой улице. <…> Небольшая комната, посередине которой стоит обыкновенный письменный стол на двух шкафиках. Перед столом два кресла: одно с вогнутой спинкой соломенного плетения, для письменной работы, другое, возле, сбоку, кожаное, вольтеровское, для чтения. У стены книжный шкаф и мягкий диван. На письменном столе обращают на себя внимание часы с бронзовой фигурой молодой девушки, Марфиньки из «Обрыва». Эти часы — юбилейный подарок, поднесенный Ивану Александровичу от редакторов изданий, в которых он сотрудничал. На стенах висят картины: сцены и лица из его романов.

Гавриил Никитич Потанин:

В 1891 году судьба опять забросила меня в Петербург. Было лето: помню 27-е июля. Летом Петербург томительно скучен и мне особенно хотелось повидать Гончарова. В адресном столе узнал, где он живет. <…>

«Пожалуйте!» — пригласила немка печально и провела в комнату, которая была гостиной. Но, Боже мой, какая убогая теперь была эта гостиная! Старая мебель в белых чехлах, старая скатерть на столе и коротенькие немецкие занавески на окнах, и больше ничего. Я заглянул в кабинет, и там та же пустота: один письменный стол без чернильницы, без перьев и без портрета Варвары Лукинишны; нет даже этажерок с сокровищами Востока — все куда-то исчезло. Один портрет дряхлого Гончарова с белой бородой. Он так же смотрел на меня тоскливо и по-прежнему закрывал двумя пальцами свой правый, вытекший глаз.

Родственные узы

Отец Александр Иванович и мать Авдотья Матвеевна

Александр Николаевич Гончаров:

Об отце его известно мне очень мало. Говорили, что он был человек ненормальный, меланхолик, часто заговаривался, был очень благочестив и слыл «старовером». Занимался он хлебной торговлей и, кажется, имел амбары для ссыпки хлеба в Симбирске, под горой, на берегу Волги. Помню, что его портрет висел у бабушки, Авдотьи Матвеевны, в ее спальне.

Гавриил Никитич Потанин:

Отец Гончарова, Александр Иванович, пользовался почетом в городе: его много раз выбирали городским головой. На портрете старик Гончаров изображен видным мужчиной, среднего роста, белокурый, с голубовато-серыми глазами и приятной улыбкой; лицо умное, серьезное; на шее медали. Мать Гончарова, Авдотья Матвеевна, умная и солидная женщина, обратила на себя внимание императора Александра Павловича, танцевавшего с нею на купеческом балу. Об этом счастливом времени старушка всегда с восторгом рассказывала детям и внукам и под веселый час, отпирая сундуки, показывала нам наряды старого времени.

Александр Николаевич Гончаров:

Помню также, что у Авдотьи Матвеевны был большой киот, перед которым горела синяя лампада. Из старого гончаровского наследства всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два образа, из которых один — образ Спасителя в тяжелой позолоченной ризе, а другой — Матери Божией — в серебряной ризе. У Ивана Александровича, на Моховой, в задней комнате, также было несколько образов из старого гончаровского дома.

Михаил Федорович Суперанский (1864–1930), *один из первых биографов Гончарова. Со слов симбирских родственников И. А. Гончарова. По воспоминаниям семейства Кирмаловых:*

Она была строгая, но умная воспитательница детей; прислуга уважала ее «за справедливость» и распорядительность. <…> Иван Александрович в кругу близких людей говорил, что никто из них, братьев и сестер, не унаследовал ее ума, по которому ей следовало бы быть министром.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре*

А. А. Кирмаловой. Петербург, 5 (17) мая 1851 года:

Да, милый друг Сашенька, кончина нашей матери должна тебе отозваться тяжелее, нежели всем нам. <…> Больно и мучительно, как подумаешь, что ее нет больше, но у меня недостает духа жалеть, что кончилась эта жизнь, в которой оставались только одни страдания и болезненная томительная старость. Живи она еще десять лет, она бы все мучилась вдвойне. <…>

Притом жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я после первых невольных горячих слез смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и горжусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней.

Крестный Николай Николаевич Трегубов

Гавриил Никитич Потанин:

Иван Александрович <…> рано лишился отца <…>. Но эту тяжелую потерю вполне заменил Гончарову крестный отец всех четырех детей, Николай Николаевич Трегубов, отставной моряк.

Николай Николаевич, постоялец в доме Гончарова, друг старика, был принят в семье как родной. Холостяк, он любил детей, которые, в свою очередь, были привязаны к нему искренно. По смерти Александра Ивановича Трегубов из флигеля перешел в дом; дети стали ближе, привыкли еще больше, и мало-помалу связи между крестным и детворой крепчали и приняли определенную форму отношений. Он был хорошим советником вдовы и руководителем детей. Биограф Гончарова о Трегубове говорил, что он был передовой человек того времени, масон, друг Лабзина и Порошина, в дружеской переписке с декабристами; умный, образованный, живой, он заслужил общую любовь и уважение в городе, и вокруг него собиралось лучшее общество в Симбирске. Гончаров к этому добавляет, что «Якубов (так он называет Трегубова в своих записках) был вполне просвещенный человек: образование его не ограничивалось одним морским корпусом, он всю жизнь читал и пополнял его по всем отраслям знаний». «Мать наша, — продолжает Иван Александрович, — в благодарность за то, что крестный взял на себя заботу о нашем воспитании, взяла на себя заботы о его житье-бытье, хозяйстве, и мы жили общим домом». Эта духовная связь моряка с семьей Гончарова кончилась тем, что Николай Николаевич — в знак благодарности, что его, холостяка и старого бобыля, приютили в семье и дали насладиться семейной радостью, — все свои богатые имения роздал Гончаровой и ее детям. Я теперь не помню, что получила от него сама Авдотья Матвеевна, но мне положительно известно, что богатые ардатовские имения: Хухорево, Цыганово, Обуховка, Майданы, были подарены Александре Александровне Кирмаловой, а Чертановка с приселками Анне Александровне Музалевской. Сыновьям он имения не дал, а выразился о них своеобразно: «Я дал им в приданое образование и позабочусь об их карьере, — остальное пусть добывают сами».

Гавриил Никитич Потанин:

«У кумушки моей, — говорил [Николай Николаевич], — была четверка детей; мы разделили их поровну: ей парочку девчат, мне пару ребят. С пелен я принял их на себя и сам учил грамоте с аза. Коля и Ваня были умные детки, с головой. Только Коля был

какой-то сонный: не поймешь, бывало, что с ним такое, — вечно рассеян; слушает — не слышит; скажешь что — не поймет; рассказывать начнет — переврет; так и махнешь рукой. Одно в нем было удивительно: огромная память. Сколько стихотворений он знал в детстве и, представьте, все отлично Декламировал. А Ваня мой не такой, — этот не заснет, нет! Этот был мальчик живой, огонь. Бывало, как начнешь рассказывать что-нибудь из моих скитаний по белу свету, так он, кажется, в глаза готов впрыгнуть, так внимательно все слушает, да еще надоедает: «Крестный, скажи еще» Так, бывало, и пройдет весь день с ним в болтовне. Лет шести, верно, я выучил его грамоте, а уж и не рад, как он начал читать. Вообразите, милый Гаврила Никитич, такой-то клопик заползает ко мне в библиотеку и торчит там до тех пор, пока насильно его вытащат есть или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснул ли там мой сынок, — куда-с!.. Заглянешь в книжку к нему — точит какое-нибудь путешествие… И тут же начнет лепетать: живо расскажет, что ему особенно понравилось. Больше всего любил он морские путешествия: об них он всегда азартно мне рассказывал. Бывало, восторженный, бежит с Волги и кричит с улицы: «Крестный, я море видел! Ах, какая там большая, светлая вода прыгает на солнце! Какие большие корабли с парусами!» — «Какое море твоя Волга! Ты теперь понять еще не можешь, какое большое бывает море», — ответишь ему. Так что вы думаете? Он целый день после того покою мне не даст: скажи да скажи, какой длины море бывает! А что я скажу ему, положим, о Великом океане, когда человечек еще понятия не имеет, что такое аршин или вершок? А как скажешь ему, бывало, на ребячьи восторги его: «Ах, Ваня Ваня, если б ты сделал со временем хоть одну морскую кампанию, то-то порадовал бы меня, старика», — так он ничего мне на это не ответит, задумается глубоко и молчит… Ох, что-то он теперь поделывает в своем казенном Питере? Долго от него нет вестей. В чернилах, я думаю, купается вместо моря?» Старик над этим вопросом задумывается надолго, и после того от него не услышишь уже ничего.

Брат Николай Александрович

Александр Николаевич Гончаров:

Отец был психически больной человек. Он имел вид чисто провинциального чиновника, рано обрюзгший, мало занимавшийся собой. Дома он всегда был в халате, а для выхода у него были черный сюртук, манишки и воротнички и какой-то шелковый твердый галстук и цилиндр. Все это имело вид бедный и далеко не изящный.

Хотя отец и кончил курс в московском университете, но высшее образование как-то не оставило на нем следов. Прямо из университета он прибыл в Симбирск, послужил, кажется, некоторое время в канцелярии губернатора, а потом перешел в гимназию, где и застрял до конца жизни.

Человек он был тихий, боявшийся начальства, а тем более высших властей; уважал он всех, начиная с выпивавшего директора, с глупого инспектора, и кончая бойким жандармским инспектором.

Дома он засиживался до глубокой ночи за исправлением ученических тетрадей. Часто перед двумя сальными нагоревшими свечами сидел он целыми часами и громко разговаривал сам с собой. Бьется, бывало, два часа; в комнату входит наша няня, Ольга Кондратьевна, и говорит: «Пора, батюшка, ложиться спать, вторые петухи давно пропели, а вам завтра утречком надо идти в гимназию; того и гляди, дилехтор, как запоздаете, пришлет за вами сторожа».

Няня тушила свечи, а отец долго молится, и затем, улегшись, — вспоминая разговор с Крупенским или Вишневским, — громко бранит директора, инспектора и учителей, критикуя их действия. <…>

Он был постоянно задумчив. Иногда, во время разговора с нами, у него как-то вдруг глаза мутились, делались мало подвижными, и он начинал в полголоса говорить сам с собой. Временами он жаловался на мать, бранил начальство, цитировал Гете или Шекспира, спорил, сам себе давая реплики, — это тянулось целыми часами, иногда в продолжение всей ночи. Это «бормотание», как называли в семье это состояние отца, часто усиливалось, благодаря самому незначительному нервному расстройству или неудачам и неприятностям.

Каков он был в качестве учителя? — Знал он много, но преподавать не умел, да и не мог, постоянно находясь в полузабытье, в каком-то полусонном состоянии. Бывшие его ученики, впрочем, говорили мне впоследствии, что, благодаря

ему, они стали читать. Некоторым из них он давал уроки французского и английского языков, которые знал в совершенстве. Чтобы познакомить меня с Шекспиром, когда мне было лет семнадцать, он брал подлинник и переводил прямо a livre ouvert[11] на французский язык, и все шло без сучка и задоринки. Впоследствии он писал мне немецкие письма, которые были превосходны и безукоризненны в стилистическом отношении. Он часто бывал у А. М. Языкова, человека высокообразованного, и находил большое удовольствие беседовать с ним о… Боссюэте, Корнеле или Расине. Из русских писателей он часто на память цитировал Жуковского, Пушкина, Батюшкова и даже Державина; он превосходно читал басни Крылова и знал их все наизусть. Повторяю: отец знал много, но все его знания оставались мертвым капиталом: он не делала из них никаких обобщений, никаких выводов.

Отец давал уроки в младших классах гимназии. Но это было не преподавание, а какое-то укрощение зверей. Мальчики кричали, грызли орехи, бросали чертиков в потолок, свистели и ревели; а отец бросался то к одному, то к другому и вытаскивал со скамеек самых неловких, драл их за волосы или за уши, ставил на колени или давал по две, по три пощечины <…>.

Отец отличался изумительной подозрительностью. Иногда он производил дома настоящие обыски, расспрашивал няню, заглядывал на чердак и, утомленный, ложился отдыхать.

Трудно сказать, любил ли он кого-либо. Изредка ему приходило в голову, что мы с братом — шалуны и дурные мальчики. Тогда он призывал которого-нибудь из нас к себе и приказывал нашему лакею, Лукьяну, высечь меня или — чаще — брата; а потом все, втроем, шли в церковь, ко всенощной (так как секли нас — и секли жестоко — обыкновенно по субботам). <…>

В городе отца любили за его тихий характер и благочестие. <…>

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. А. Гончарову. Петербург, 30 июня (12 июля) 1858 года:*

Вчера я получил твое письмо, любезнейший брат Николай Александрович, и отчасти не разобрал его, а на то, что разобрал, спешу отвечать. Опять-таки скажу, что мне вовсе непонятно твое смущение, когда тебе другие говорят, что вот-де с вашим братом сделалось то или другое, чего ты не знаешь. Чего тебе тут краснеть, когда у тебя готов простой ответ? Мы, дескать, не ведем переписки, перекинемся в год двумя письмами, живем розно, не видимся по десяткам лет и оттого отвыкли, да притом же и

ленивы оба, или на меня можешь сказать — я ленив: вот и все. Никто не станет подозревать никакой вражды. Не будем же смотреть на *других,* что скажут, и будем делать, как делали. Впрочем, я всегда пишу к Анне Алекс<андровне> с просьбой передать известие и тебе: зачем же непременно нужно, чтоб и тебе особо писать? Двойной труд по пустякам.

Михаил Федорович Суперанский:

Во время пребывания И. А. Гончарова в Симбирске в 1862 году имел место такой случай. Братья встретились на городском бульваре. Писатель в шляпе с большими полями, надвинутой вперед, подошел к Николаю Александровичу и спросил его, не может ли он указать, где живет учитель гимназии Гончаров. Не замечая, что он говорит с братом, последний отвечал: «Это — я. Что вам угодно?» — «Я знаком с вашим братом в Петербурге и имею кое-что передать вам от него»… Николай Александрович заметил мистификацию лишь тогда, когда его собеседник рассмеялся и снял с своей головы шляпу.

Александр Николаевич Гончаров:

У нас в доме, в этот приезд, Иван Александрович был всего раз или два. Он относился к своему брату с легким юмором и брезгливостью: ему, чистоплотному петербуржцу, было противно видеть нашу убогую обстановку, неизменный графин с квасом и толстого, неряшливого в одежде, отца, с его сентиментальностью, преклонением перед талантом брата и воспоминаниями о Москве тридцатых годов.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма к Е. П. Левенштейн. Конец 1860-х. Из Петербурга:*

Мы с братом жили век розно, особенно дружны никогда не были, и теперь — как чужие друг другу.

Александр Николаевич Гончаров:

Мать рассказывала мне, что, прочитав «Обрыв», она узнала в учителе Козлове своего мужа — сходство несомненное.

Сестра Анна (в замужестве Музалевская)

Александр Николаевич Гончаров:

Анна Александровна была очень умная женщина, обладавшая большою наблюдательностью и огромным юмором. <…>

По временам она делалась совершенно ненормальной или, — как говорил ее муж, — начинала «куралесить»: она накупала в магазинах множество разных материй и без конца кроила и шила для себя и для своих двоих приемных дочерей платья, юбки, кофты, при помощи нескольких приглашенных на дом портних. Эта, обыкновенно рассудительная и далеко не дурная, женщина делалась в таких случаях невыносимой: лицо ее покрывалось красными пятнами, глаза мутились, и она начинала говорить всем якобы правды в глаза — начинала всех обличать. Беда, если в то время приходили мы к ней с братом или наш отец. Она набрасывалась на нас с разными упреками, а бесхарактерному отцу рассказывала, что мать ему не верна, что когда его не бывает дома, к ней приходят гости. Постоянно восстановляя отца против жены, она ставила последней в упрек даже то, что та была лютеранка. Случалось, отец, под давлением слов сумасшедшей женщины, и сам будучи ненормален, возвратившись домой, устраивал матери сцены. Та уходила и плакала.

В летнее жаркое время период сумасшествия у Музалевской продолжался иногда несколько недель. Тогда она, вся красная от прилива крови к лицу, делалась пугалом для всей мужской и женской прислуги. <…>

Когда Музалевская была здорова, она представляла из себя провинциальную даму того, давно прошедшего времени, сознававшую, что дом ее — полная чаша, что муж у нее — хороший человек, что она не хуже дам местной аристократии. <…> При этом она была превосходная хозяйка, и в ее доме готовились изумительные шипучки и разные квасы, солились грибы, мочились яблоки, сливы и груши в изобилии. Это был тип старосветской помещицы-хлопотуньи.

Сестра Александра, племянники и племянницы

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Кирмаловой. Петербург, 20 апреля (2 мая) 1856 года:*

Поздравляю тебя, милый друг Александра Александровна, с праздником и со днем твоего ангела; желаю тебе здоровья, веселья и всякого добра и имущества. Все ли твои дети с тобою, кроме, конечно, Виктора?

Что Моничка, все поживает у сестры? Что девочки Катя и Варя? Напомни им о дяде. Виктору я, по твоему желанию, писал, чтоб он лучше пробыл лето в Москве, а он уверяет, что в Москве жить лето станет дороже, нежели проехать взад и вперед в деревню. Может быть, оно и в самом деле так, разочти хорошенько. Я очень бы желал, чтобы Володя поступил нынешний год в университет, им вместе двоим было бы выгоднее жить. Норови потом туда же и Николю. Университетское образование все-таки лучшее. Теперь особенно опять всем позволили вступать в университеты, и конечно многие будут этим пользоваться, и образование в обществе распространится заметно. Впереди всегда будут университетские, как были до сих пор и в военной, и статской службе. Людям малообразованным будет невыгодно. Пусть же все трое твои идут по этому пути.

Александр Николаевич Гончаров:

Из Кирмаловых бывали у Ивана Александровича в Петербурге двое сыновей Александры Александровны, Владимир и Виктор. Первый из них, Владимир Михайлович, был человек очень талантливый, но бесхарактерный. Приезжая из Москвы в Симбирск, он останавливался у Музалевских. Здесь он рисовал карикатуры на симбирских патрициев, доказывал тетушке, что Бога нет, и говорил, что все образа ее он бросит в печку, а старой няне объяснял, что у людей такая же душа, как и у животных, что мы в природе такие же букашки, как мухи и комары, что молиться следует не Богу, а солнцу, луне и созвездиям. Тетушка жаловалась на него архиерею, а няня, Аннушка (воспитавшая Ивана Александровича и моего отца, а потом переселившаяся к Кирмаловым), прыскала на него святой водой, окуривала его комнаты ладаном и ставила свечи. Говорили, что Иван Александрович с него главным образом списал своего неудачного Марка Волохова.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Кирмаловой. Петербург, 1 (13) декабря 1858 года:*

Милый друг, Александра Александровна! Виноват я, что так давно не отвечал на твое письмо, привезенное мне Виктором. Но я очень занят и вот едва удосужился сказать тебе несколько слов. <…>

Сынок твой, слава Богу, здоров. Он, вероятно, писал тебе, что ему дали штатное место помощника секретаря и он получает теперь 350 рублей серебром жалованья. Конечно, это еще не много и он без твоей помощи не обойдется, но все же станет на квартиру, стол, чай и сахар. А через год, вероятно, будет получать рублей 500. Его любят на службе, начальник его, встречаясь со мной, всякий раз хвалит его усердие и говорит, что все его любят в Сенате и что он может научиться делу и будет полезен и себе, и службе.

Но приучить его к обществу порядочных людей мне не удалось. С знакомыми он действует по-бараньи, склонив голову вниз, как будто хочет бодаться. Если ему и удается иногда победить деревенскую застенчивость, то он придет в чужой дом, не скажет почти ни слова, вернет хвостом и уйдет. И добро бы я знакомил его с чопорными, модными домами, а то люди простые, умные и ласковые. Зовут обедать, в ложу приглашают на вечера, есть отличные молодые люди, а он на все по-бараньи отвечает. Конечно, все это делали пока для меня, а потом, познакомясь с ним покороче, стали бы делать и для него, но он предпочитает сидеть в своем гнезде, у какой-то чухонки или немки-хозяйки, с какими-то студентами. И сам похож на недозрелого студента. Я толковал ему, что карьера делается не в одной службе только, но и в обществе. Он не слушает, и я оставил его: пусть делает как сам знает, он не маленький, лишь бы не пенял на меня. Я сделал, что мог.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Музалевской. Петербург, 20 сентября (2 октября) 1861 года:*

<…> Я полагаю, что вслед за сим письмом, или неделю-другую спустя, вылезет на симбирской пристани с парохода, или же прибудет другим каким путем туда племянник наш Виктор Михайлович (Кирмалов. — *Сост.),* для дальнейшего следования в свои местности. О немого хочу перемолвить слова два, государыня моя. По возвращении моем сюда (из-за границы. — *Сост.),* застал я его бледна, изнуренна, крайне лохмата, местами, под мышцами более, в изодранном одеянии и притом без калош по грязи ходяща, так что если б он выучился мерно произносить: *би, би, би, бо, бо, бо* — так мог бы с большим успехом поступить в

должность симбирского Андреюшки (юродивого. — *Сост.),* которую тот с таким по успехом исправлял в течение 30 или 40 лет. По тщательным справкам оказывается, что он любит и любим нежно, страстно и возвышенно — все более и более. *Он, она, они, оне* — вот все его блаженство. Он уже и жених, отец согласен, дочь согласна, и мать — тоже… А у жениха то шинель пришла в ветхость, то панталоны или сапоги — в скорбном виде… Но Виктор Михайлович, убежденный, что если не теперь, то со временем у него будет кусок хлеба, частию от имения, частию от службы, и притом сладостно любя Дашеньку, которой, по словам его, нет равной и не было в мире, хочет взять ее… Для сего он едет к своей родительнице, чтобы все это ей объяснить, потом, чтобы узнать, на какие домашние средства может он рассчитывать и когда, а также чтоб попросить ее снабдить его необходимыми деньжонками, а потом, возвратись, жениться.

Можете вы, государыня моя, себе представить, какие громы в течение двух лет бросал я на безумную главу его, какой молнией опыта, красноречия опоясывал его, какую картину жалкой бедности… изображал перед ним — но он сначала таил, молчал, потом отвечал решительно, чтобы я не трудился тратить сил, что это его судьба, больше, чем судьба, что он, она и даже я, все умрем, если дело не состоится, что он чувствует, что здоровье его гаснет и проч., и проч., что он будет работать, будет жить в крайней скудности, а все-таки женится. Я махнул рукой и объявил, наконец, что пусть он делает, что хочет… <…> Мне жаль его: он терпит молча, в самом деле изменился ужасно, стал бледен, молчалив, пожалуй, заболеет серьезно. Желал бы помочь ему, но все, что могу — это вырезать кусок мяса и дать ему каких-нибудь рублей сто… Я не знаю, как он начнет жить на другой же день с женой. Я, говорит, уеду в деревню, жена у меня… неприхотлива, любит меня, она все снесет, а там, говорит, вступлю в дворянскую службу, в посредники что ли — уж, право, не знаю. Может быть, дадут ему место секретаря; но ведь и это 750 рублей жалованья и больше ничего, а взяток брать он, конечно, не станет. Жалко и больно это видеть: винить его, бранить — язык не ворочается, а *чувствую, что помочь надо.* Теперь, на беду, я сам без места и нет надежды вступить мне на службу. *Не брани и ты его, а прими его поласковее. Помочь ты ему — поможешь,* чем можешь. Он делает то, что большая часть делают в его лета. Это не любовь, или любовь, доходящая до болезни. Не одну тысячу увлекала она в семейную жизнь, на путь труда, лишений, забот. Он со временем расплатится за это… Зачем же нам еще казнить его?

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Кирмаловой. Петербург, 19 (31) октября 1861 года:*

Я получил сегодня твое письмо, милый друг Александра Александровна, недавно писал и еще одно — все о Викторе Михайловиче. Что с ним делать: я и другие приятели мои и жены их говорили ему, что надо бы ему подождать, что нужно прежде устроить свое положение, знать, на что он способен, чем прокормит себя и жену, и тогда уже женится. Но он, как ты пишешь, должно быть, и в самом деле слаб, потому что лезет, как бабочка в огонь, тает и худеет и думает все об одном — жениться. Со всеми это случалось, все умели перетерпеть, а он — нет. Конечно, это честно и не худо, да он едва ли вытерпит всю тяжелую школу нужды и лишений… Но, может быть, женится и переменится… Я с ним ссорился, по нитке разобрал ему все, что его ожидает, но розы загораживают ему все. В свои лета он еще все какой-то юноша. Будь у него средства или будь твердый мужской характер, я бы первый посоветовал ему жениться, потому что он домосед, людей дичится и бегает и, кажется, способен к семейной жизни. Но дело в том, что он непрактичен, не знает жизни и ее горьких уроков, и когда постигнет его серьезное горе, он не найдет в себе ни воли, ни мужества, ни умения извернуться… *Вот чего я боюсь за него.* А за женитьбу бранить его нельзя: в браке сохраняется чистота души и тела, не истаскает ни того, ни другого. <…> Я хлопотал вчера, чтобы ему хоть поскорее дали место секретаря — вот все, чем я могу быть ему полезен.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Кирмаловой. Петербург, 22 мая (5 июня) 1862 года:*

Надеюсь, ты уже примирилась с мыслью об этой женитьбе и *встретишь свою невестку, как дочь.* Встретить молодую женщину, почти дитя, холодно и сурово — было бы бесполезным варварством и повело бы к вражде между родными. Ты, увидя ее, как она молода, проста и как любит его, не скажешь, чтобы тут был умысел войти к вам в родню и завлекать его. Да и не из чего… из чего бы хлопотала она, как не из привязанности к нему. Отталкивать ее, делать ей грубости — было бы дикостью, которая напоминает те времена, когда еще родители *приказывали* жениться или *запрещали* по своему усмотрению, проклиная детей и проч. Но ведь ты нового времени женщина, и притом добрая мать, какою и не перестанешь никогда быть.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Кирмаловой. Петербург, 1(13) сентября 1862 года:*

Володя (второй сын А. А. Кирмаловой. — *Сост.)* умный малый и с дарованиями, но, к сожалению, ничего не делает и не расположен делать; надеется на продажу какого-то леса, чтоб ехать за границу — учиться как будто бы языкам, а после, вот видишь ли, он уже и примется за дело. А языкам можно выучиться даже в Ардатове, кто захочет; а кто говорит: *выучусь,* потом начну *работать,* тот большею частью никогда не начнет. Все его теории, вся эта гордость, резкие обо всем и обо всех отзывы — все это не что иное, как слова, слова и слова. Не начавши еще жить, он настроил в голове множество программ жизни и воображает, что так они и исполнятся. А чуть начнется серьезная жизнь — все эти программы разлетятся от прикосновения действительности. В сущности, он добрый и мягкий, и честный малый, но малый с большими кулаками, здоровым желудком и немалым самолюбием. Просто студент еще о сю пору, кипучий, бурливый — все это устоится и из него будет большой прок, если он не поленится.

Я от души полюбил твоих девочек (Софью и Екатерину Кирмаловых. — *Сост.),* но Катя меня серьезно беспокоит. Она нервная и чересчур чувствительная девочка, да к тому же еще и золотушная. У нее под языком уже с год образовалась опухоль или нарыв, который то исчезает, то появляется — и девочка страдает от этого. Вот, когда тебе будет на кого покинуть дом и хозяйство, т. е. когда приедет Виктор с женой, тебе бы не мешало съездить в Москву и посмотреть, что у нее такое. Говорят, этот нарыв называется grenouille и его легко вырезать, но надо поручить эту операцию хорошему оператору — там есть Барсов, — а другой, пожалуй, испортит на век язык. Не пренебрегай этим. Летом ее непременно надо взять на Сергиевские воды, чтобы выгнать золотуху; после труднее будет. Это мешает ей учиться, а она девочка умная, серьезная, с чувством и имеет страсть к занятиям. Ты дай ей кончить полный курс.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма сестре А. А. Кирмаловой. Петербург, 27 января (8 февраля) 1863 года:*

Владимир славный, т. е. умный и добрый малый, да толку от него нет: шатается праздно, дела не делает, пренебрегая занятием посредника или подобной должностью, носясь с своим ребяческим чванством и гордостью, а еще более ленью. Все выдумывает и ждет какого-то небывалого дела и занятия — все это штуки, дело в лени и праздности. Я бы рад быть ему полезным, но видишь сама, он отделывается под разными предлогами от занятий, стыдится, гордится, а не стыдится тащить

деньги из семьи, чтоб шататься по свету. У меня большая симпатия к нему, и я душевно сожалею, что он лишает себя случая избрать себе дело, пока я мог бы помочь ему. Не знаю, как он сладит один — дай Бог ему удержаться честным и порядочным человеком.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма В. М. Кирмалову. Петербург, 26 апреля (8 мая) 1863 года:*

Ты собираешься, Виктор Михайлович, в конце мая приехать сюда и спрашиваешь, рад ли я буду тебя видеть: еще бы! Не только рад, но дам тебе и деньжонок на проезд из Москвы и обратно. Скажу даже тебе, что мне очень часто скучно бывает, что вас нет с Дашенькой здесь, и что при вас мне было бы гораздо веселее как с близким и милым родным семейством. К сожалению, трудно и даже невозможно и подумать пристроить тебя к какому-нибудь месту здесь, которое бы давало возможность, при нынешней дороговизне, прожить в Петербурге безбедно.

Евдокия Петровна Левенштейн:

После первого его приезда я в течение долгого времени не видала его и не слыхала о нем ничего такого, что бы врезалось у меня в памяти. Поэтому могу упомянуть теперь только о втором его приезде, в 1862 году, когда мне было почти четырнадцать лет. Он тогда приехал летом в Симбирск из Петербурга. <…> Иван Александрович позвал меня, и экзамен начался. Все шло отлично. Вдруг дядя задал вопрос:

— А скажи-ка, кто изобрел книгопечатание?

— Не знаю, — был мой ответ.

— Возможно ли? Что ты, милая? Чему же тебя учили?! Не знать этого! — Дядя страшно волновался при этом, бранил учителей и всех и все. А я, чувствуя себя ни в чем не виноватой, принялась плакать.

Увидев мои слезы, дядя понял не заслуженную мною обиду, продолжал спрашивать, но уже вовсе не строгим голосом: «Ну, а кто был Лютер?» Опять «не знаю»; но я сказала это таким испуганным голосом, что дядя махнул рукой, прибавив: «Да это ни на что не похоже!»

Объяснилось все это тем, что я еще не проходила истории того периода, и потому мне недоставало многих познаний. Я была слишком неразвита для моего возраста, хотя была очень любознательна и любила учиться. Дядя решил, что лучше будет отвезти меня в Москву, в пансион, где уже кончили курс мои кузины Кирмаловы. Вот чем закончился мой несчастный экзамен.

Затем, в последующие дни, было несколько совещаний у мамы с обоими братьями. Конференция кончилась тем, что было решено отвезти меня в Москву.

В первых числах августа начались сборы в Москву для помещения меня в пансион. Бедная моя мать, страшно любившая меня и притом никуда до того времени не выезжавшая из Симбирска за всю жизнь, начинала с грустью поговаривать о предстоящей разлуке со мной и о дальнем неведомом путешествии, которое ее ужасало. Отец не мог нас сопровождать, имея на руках труднобольных; в то время не было еще везде железных дорог: приходилось до Нижнего ехать Волгой, а оттуда до Москвы на почтовых лошадях.

Неудивительно, что моя мать была в нерешимости, доходила почти до отчаяния, а между тем надо было меня везти в Москву. Вот горе — из-за меня! Анна Александровна решилась на все жертвы; вероятно, ее всячески уговаривал брат Иван Александрович. Чтобы успокоить ее, он предложил сопутствовать нам до Москвы и помочь ей отыскать пансион и устроить меня там, для чего ему потребовалось бы пробыть в Москве несколько лишних дней. Все это показывает, до чего он любил сестру.

Благополучно добрались мы до Нижнего, хотя путешествие наше было сопряжено с большими неудобствами на пароходе. От Нижнего ехали в двух тарантасах, на почтовых. Помню, около Владимира проезжали Муромскими лесами. Поговаривали о случаях нападения и ограбления путешественников. Даже ямщики — и те спешили проезжать некоторые места, зная, где может представиться опасность; им, привычным, и то было жутко.

Помню, что хотя и редко, но встречались пикеты, охранявшие путь. Дядя часто смотрел в заднее окошечко повозки, не отрезаны ли наши чемоданы. Мы от страха мало спали, плохо ели, обеда почти нигде нельзя было достать, и знаменитый наш писатель весьма плохо себя чувствовал, бранил русские дороги, вспоминая заграничный комфорт и пути сообщения. Однажды утром ему сделалось даже дурно, и он напугал нас.

Мы, по счастью, тогда еще не знали железных дорог и не так страдали от всех этих неудобств и лишений. Наконец благополучно добрались до Москвы и там через два дня простились с Иваном Александровичем, с которым я уже не видалась до зимы 1865 года.

Александр Николаевич Гончаров:

Брат мой, Владимир, никогда не бывал у дяди и, случайно встречая его в Петербурге, обходил его. Этот прямолинейный, добрый и мягкий человек глубоко ненавидел Ивана

Александровича и часто говорил мне: «Охота тебе бывать у этого животного; он стыдится своего брата, потому что тот не генерал-адъютант, а учитель гимназии; от него на версту воняет мертвечиной и дохлятиной. Ходи — не ходи к нему, он своего состояния не оставит никому из нас, и напрасно ты его балуешь».

Я хоть и посещал иногда Гончарова, но материальной поддержкой от него не пользовался. Только раз, в шестидесятых годах, он заказал мне у своего портного, Клеменца, платье, за которое заплатил 50 рублей, и однажды, когда я ехал в Дерпт, будучи студентом, подарил мне 50 рублей. <…>

Наши свидания с ним почти всегда кончались ссорой; мы расходились иногда на несколько месяцев, пока где-нибудь случайно не сталкивались.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. А. Музалевской. Петербург, 18 (30) апреля 1878 года:*

С Александром Гончаровым я давно не видался и не плачу о том. Мне и смешно и жаль слышать от тебя, что третьему нашему племяннику, Владимиру Гончарову, не удалось получить хорошее назначение по какой-то нелепой ошибке: как это могло случиться, что назначили на должность его, а вызвали другого Гончарова? Нельзя ли узнать это повернее и написать мне? Я попросил бы в министерстве юстиции — вероятно, ошибку исправили бы, если это ошибка. Он, кажется, хороший и дельный малый — мне его жаль!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Д. Л. Кирмаловой. Петербург, 12 (24) января 1888 года:*

Из родных, кроме сестер, Александры и Анны Александровны, вы с Виктором Михайловичем ближе мне других племянников, из которых одних я почти вовсе не знаю, например, Владимира Гончарова; Владимира Кирмалова, твоего beau frere, так давно не видал, что забыл совсем, а Александр Гончаров, тершийся тут около меня лет десять, порядочно надоел мне своей суетой, навязчивостью, пустотой и тщеславием. Я рад, что его тут нет…

Странствия, труды и будни

В начале жизни

Из метрической книги Вознесенской церкви в Симбирске за июнь 1812:

6 — рожд., крещ. 11. У симбирского купца Александра Иванова Гончарова — сын Иван. Восприемник надворный советник Николай Николаевич Трегубов. Молитвовал и крестил приходский священник Михаил Бадеряковский. Диакон Александр Иванов. Дьячек Петр Иванов. Пономарь Сергей Андреянов.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарного очерка «На родине»:*

Дом у нас был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры, утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной Дворни. Словом, целое имение, деревня.

Гавриил Никитич Потанин:

Иван Александрович говорит, что двор отца был загроможден постройками, да иначе и быть не могло: в нем жили две большие дворни — хозяина и постояльца, бегали цесарки, павлины и т. п. Старый слуга Гончарова мне говорил, что у каждого дворового была еще своя потеха: кто держал голубей, кто собак, кто заводил ворона или ястреба — «значит, всякий по своему скусу; а благородные пташки, канареечки али соловушки, ну те уж там висели, в барских комнатах, потешали господ». <…> После пожара 1864 года дом этот был продан и поступил во владение немца, изменившего совершенно характер и архитектуру старинного здания.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарного очерка «На родине»:*

Мать наша любила нас не той сентиментальной, животной любовью, которая горячими ласками, баловством, потворством, угодливостью детским капризам портит детей. Она умно любила, неослабно следила за каждым нашим шагом и со строгой справедливостью разделяла свою материнскую любовь на всех

четырех. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если видела, что в шалости кроется будущий порок, — тогда она была неумолима.

Гавриил Никитич Потанин:

Особенно трогательны и задушевны были беседы Ивана Александровича с матерью, когда он напоминал ей свое резвое, шаловливое детство. Сидит грустный, задумчивый и вдруг начнет весело:

— А помнишь, мама, как я выпрыгнул из-под куста и выстрелил в тебя хлопушкой?

— Ох, сорванец! Ты уж лучше не напоминай мне твоих проказ! Я, Ваня, так тогда испугалась, что плакала от истерики.

— Ну, прости, мама! Я теперь за тебя поплачу, хочешь?..

— Ну, ну, полно дурить и рожу строить, — вишь, точно настоящий актер.

Авдотья Матвеевна матерински смеется, глядя на милого актера, который мастерски, по-актерски плачет.

— А помнишь, мама, как ты стащила меня за ухо с дерева, точно птицу за хохол?

— Ну, какая там птица с ушами! Просто нужно было тебя наказать! Помнишь, я думаю, какой ты был тогда маленький клопик, едва по земле ползал, и вдруг увидала тебя на дереве, — у меня сердце замерло от страху!

— Да не вытерпел, мама! Ты теперь представить не можешь, как тогда хотелось мне залезть!

— А, хотелось? Так вот тебе за хотенье и досталось на калачи! Не хоти, когда не велят.

— Теперь разумею, а тогда!..

— А тогда глуп был, вот я тебя и учила.

— Да ведь голову надо было учить, не уши?

— Ну, ты теперь об этом не рассуждай: уши и волосенки на голове растут; за что зацепила, за то и учила.

— Великий вы педагог, мама: по-вашему, значит, с которого конца ни начни науку, все равно?

— Конечно, все равно: был бы только в науке смысл и толк. А за большие твои проказы нужно было тогда хоть разок попробовать тебя посечь. Вот ты б и знал тогда, что такое мать! <…>

— А помнишь, мама, как хитро я подкрадывался к сахару? Боже мой! Какой он тогда был сладкий! Ах, прелесть!

— Зато мне, сыночек, было горько! Не знала, как отучить тебя от этой скверной привычки. Ты не только горстями его таскал — полные карманы набивал, а это тебе было вредно.

— Да ведь не умер я тогда от сахару?

— Оттого и не умер, что я стала наконец коробку запирать от тебя на замок.

— Скупая ты была тогда, мама: родному сыну сахару не давала… Это безбожно, наконец!

Иван Александрович устроил такую печальную мину, что мы все невольно улыбнулись. Иногда сама мать любила вспоминать проказы своего бесценного Вани.

— Представьте себе, господа, раз этот сорванец пришел с чердака с такой размазанной сажей рожей, что я не узнала его; да еще крадется, мошенник, в девичью, чтоб там умыли его секретно, а я цап его в коридоре — поймала.

Авдотья Матвеевна нежно погладила сына по голове и поцеловала.

— Эх, мама, мама! Ты теперь представить не можешь, какое забирало меня тогда любопытство! Мне непременно хотелось узнать, видно ли в трубу небо, — вот я и засунул туда голову: видно, мама!

— Да, да! И мне тогда было видно, каким ты пришел чучелом.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарного очерка «На родине»:*

Зато Петр Андреевич Якубов[12], заменяющий нам отца, был отец-баловник. Бывало, нашалишь как следует: влезешь на крышу, на дерево, убежишь с уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню, — ну, конечно, ищут, она узнает, шлет человека привести виновного. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель к крестному. А он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, зовет: «Иван Александрович, пожалуйте к маменьке!» — «Пошел вон!» — лаконически командует моряк. Посланный уходит доложить барыне, что его прогнали. А гнев барыни между тем утихал, и беда обыкновенно заканчивается легким выговором или замечанием вместо дранья ушей, стояния на коленях, что было в то время самым распространенным педагогическим способом смирять и обращать детей на путь истинный.

Гавриил Никитич Потанин:

Лет восьми-девяти дети Гончаровой начали ходить учиться в частные пансионы в городе. Симбирск, как дворянский город, был полон тогда всякими частными пансионами, даже иностранными: то Фурне, то Дуври, то Пиге, то Мейсель, — были даже привилегированные учителя танцев, как, например, француз

Монсар и полуфранцуз Фе. Но умному крестному, верно, не совсем нравились эти пансионы. Ругается, бывало, выходит из себя. «Невежи. Черт их знает, чему они учили наших ребят?.. Спросишь самое обыкновенное, детское, и на это один ответ: «Нам об этом не говорили»; что же они там преподавали?.. А вы меня извините, молодой человек: я старик любопытный, раза два подслушал, как вы преподаете моим внукам. Правда, у вас еще нет ни методы, ни опытности, а все-таки вдет сносно… А там, бывало!..» — и махнет рукой. Вот почему Николай Николаевич посоветовал матери Гончарова отдать сына за Волгу, в имение графа Головкина, в село Архангельское, где был особенно оригинальный пансион, под фирмою: «для местных дворян». Пансион этот содержал местный поп и жена его, француженка или немка. Но к чести попа я должен прибавить, что почтенный протоиерей, Федор Антонович Троицкий, был весьма замечательный человек. <…> В доме Гончаровых Протоиерей Троицкий был такая почетная личность, что его встречали как архиерея. В этом оригинальном пансионе Иван Александрович выучился французскому и немецкому языку, а главное — нашел у батюшки библиотеку и принялся опять читать усердно. В библиотеке батюшки было все: «Путешествие Кука» и «Сатиры» Нахимова, Паллас и «Саксонский разбойник», Ломоносов и «Бова-Королевич», Державин и «Еруслан Лазаревич», Фонвизин, Тассо и детские рассказы Беркена, Карамзин и «Мрачные подземелья» Ратклиф, истории Ролленя и «Ключ к таинствам древней магии» Эккартсгаузена, по которому можно было даже вызывать чертей, — и все это было читано восьми-девятилетним Гончаровым. Можете себе представить, какую путаницу все это образовало в головке талантливого мальчика!

К счастью, это чтение продолжалось недолго: десятилетнего Гончарова крестный отец отвез в Москву и отдал в дельное заведение, как сказано в записках. Это дельное заведение — Московское коммерческое училище, куда и поступили оба брата Гончаровы, в младшее отделение.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. А. Гончарову.* 29 *декабря (10 января) 1861 года:*

Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем, и если пришлось вспомнить, то надо бы было помянуть *лихом*, а я этого не могу, и потому о нем ни слова. По милости тупого и официального рутинера, Тита Алексеевича Каменецкого, мы кисли там восемь лет, восемь лучших лет, без дела! Да, без дела. А он еще задержал меня четыре года в младшем классе, когда я был там лучше всех,

потому только, что я был молод, то есть мал, а знал больше всех. Он хлопотал, чтоб было тихо в классах, чтоб не шумели, *чтоб не читали чего-нибудь лишнего*, не принадлежащего к классам, а не хватало его ума на то, чтобы оцепить и прогнать бездарных и бестолковых учителей… Нет, мимо это милое училище!

Николай Александрович Гончаров. *В записи Г. Н. Потанина:*

Брат мой, несмотря на суету, и в Москве находил время много читать. Бывало, целый каталог пришлет показать, что он там прочитал: дети мы были, пустенькое любили. <…> Забавно иногда брат описывал новых знакомых; проказничал немало, а, впрочем, не кутил. Особенно восхищался он тогда французской литературой, — французский язык он знал так же хорошо, как я немецкий. Тогда только что входили в моду французские писатели Сю и Дюма, в восторг приходил от них! А как первый раз прочитал «Mysteres de Paris»[13], так даже цитаты мне прислал из романа и восклицательных знаков наставил бездну. Французскую литературу он тогда до страсти любил; писал, что переводит какой-то роман Сю, теперь не помню; лет через пять после того отрывок из этого романа я встретил в печати, был напечатан в «Телескопе».

Московская юность

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарного очерка «В университете»:*

Я и брат мой и еще некоторые прежние школьные товарищи вместе готовились к вступительному экзамену и вместе подали просьбу ректору университета.

Это было в августе 1831 года: 1830-й — был холерный год, и лекций не было. Бывшим уже в университете студентам не зачли этого года.

Брат и я поступали — он в юридический факультет, а я в филологический, или, как тогда назывались они, — первый «этико-политическим», а второй — «словесным».

Мы с братом и товарищи наши издалека готовились и были хорошо приготовлены к экзамену, о требованиях которого, конечно, заблаговременно справились до мелких подробностей, до методы, до книг, и потому вышесказанные страх и трепет умерялись некоторою уверенностию в успехе.

Среди этих надежд надо мной неожиданно разразилось, как громовой удар, известие, что из министерства народного просвещения получено предписание требовать от вступающих в словесное отделение знания греческого языка, который хотя преподавался в университете для филологов, но до тех пор не был, при вступлении, обязательным. Я знал порядочно по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без последнего языка нельзя было поступить ни в какой факультет. Я переводил a livre ouvert[14] Корнелия Непота, по которому все учились, как по «Телемаку» Фенелона во французском языке. Я был совершенно спокоен — а тут вдруг понадобился греческий язык!

К счастью, предписание пришло за несколько месяцев до экзамена, так что с юношескою энергией можно было — если не покорить вполне эллинскую речь, на что надо положить чуть не целую жизнь, — то хоть что-нибудь выучить, и что окажется в итоге четырех- или пятимесячных молодых стараний и сил, то и принести на экзамен.

Я и другие, кто поступал в словесное отделение, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложив все прочее, напустились на грамматику и синтаксис, и с этим скудным, приобретенным с грехом пополам запасом явились на экзамен.

Много воды подлил этот греческий язык в мои теплые надежды. Но все обошлось благополучно. В назначенный день

вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференции. В смежной, плохо освещенной комнате мы, тесной, довольно многочисленной кучкой, жались у стен, ожидая, как осужденные на казнь, своей очереди. Вот тут, конечно, сердце билось у всех, у меня — более других, по милости греческого языка.

Нас вызывали по нескольку человек вдруг, потому что экзамен кончался за раз. В зале заседал ареопаг профессоров-экзаменаторов, под председательством ректора. Их было человек семь или восемь.

Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди.

Профессор задавал несколько вопросов или задачу, например, из алгебры или геометрии, которую тут же, под носом у него, приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз и этого не делал: он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, он ставил в своем списке балл и любезным поклоном увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать две-три строки и перевести, и если студент не затруднялся, он поступал, как француз.

Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован. Многие тоже отделались до меня и веселыми ногами уходили вон, в том числе и мой брат. И я довольно легко решил какую-то задачу из алгебры и получил одобрительный кивок от адъюнкт-профессора Коцаурова. Француз сделал мне два-три вопроса: «Vous avez bien profite de votre temps»[15], — похвалил он меня, отпуская. Профессор истории задавал общеизвестные вопросы о крупных событиях. Я отбыл свой экзамен в какие-нибудь полчаса.

Тут бы и уйти — вон и дверь полуотворена, но я сделал последний шаг и очутился — около греческого профессора.

Это был старик лет семидесяти с лишком, с редкими, как чахлые кусты полыни, седыми клочками волос на голове, худощавый, с изломанными чертами лица, отчасти с крючковатым носом, в очках. Он в своем вицмундире сидел точно в мешке. Физиономии у него не было никакой, и по лицу его нельзя было догадаться, умен он или нет, добр или сердит. Это был известный эллинист — С. М. Ивашковский, о котором придется говорить ниже.

Он взглянул на меня, спросил фамилию, посмотрел в список. «Учились по-гречески?» — спросил он. «Да-с…», — отвечал я и опустил глаза к полу, сам чувствуя, что в моем *да* присутствует

вместе и *нет*. Там, под столом, я успел заметить, что профессор был в высоких сапогах, в которые были запрятаны его панталоны. «Так вот, извольте читать», — сказал он, указывая начало параграфа в греческой книге, помнится, «Отступление десяти тысяч греков», Ксенофонта. Тут у нас с ним началась некоторая борьба: я читал, а он на каждом слове поправлял: я не там делал ударения, где следовало. Его ухо не выносило этого: «Не так, не так», — останавливал он меня. А мне было вовсе не до ударений: я в это время в прочитанном ловил глазами знакомые слова, как друзей в толпе.

Через две-три минуты я увидел, что профессор делает заметные уступки: добиваясь значения слова и встречая остановку с моей стороны, он договаривал сам, а когда получал удачный ответ или только намек на него — радовался. Вопросы делал легкие, больше из грамматического анализа, как в гимназии. Потом отпустил с одобрением. <…>

Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочими тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он не долго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним.

Тут была еще замечательная личность — Бодянский, впоследствии известный профессор славянских наречий.

Курс или класс наш был какою-то беспечною, веселою толпою юношей, собиравшихся как будто только повидаться и изучать не науки, а друг друга, потому что все, что проходили, мы более или менее знали.

Мы легко справились с переходным экзаменом и на второй год весело перешли на следующий курс, из маленькой аудитории в большую, окнами на обширный двор и улицу. Там мы застали человек пятьдесят опередивших нас целым годом товарищей, не переведенных, по случаю холеры, на третий курс. Нас всего было, помнится, человек восемьдесят. Перед нами были Герцен и Белинский в университете, но когда мы перешли на второй курс — их уже не было. Там были, между прочим, Станкевич, Константин Аксаков, Сергей Строев (впоследствии писавший статьи под псевдонимом Скромненко) и перешедший с нами из первого курса Бодянский.

С Белинским я познакомился уже в 1846 году, в Петербурге, а с Герценом виделся только один раз, мельком, когда он был короткое время в Петербурге, проездом за границу.

Этот год (с авг[уста] 1832 по авг[уст] 1833) был лучшим и самым счастливым нашим годом. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр. Если же и бывали какие-нибудь истории, в которых замешаны бывшие до нас студенты, то мы тогда ничего об этом не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже с некоторым педантизмом относились к ней. Кроме нее, в стенах университета для нас ничего не было. Дома всякий жил по-своему, делал что хотел, развлекался как умел — все вразброд, но в университет мы ходили только учиться, не внося с собою никаких других забот и дел.

И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее преподавателей. Начальства как будто никакого не было, — но оно, конечно, было, только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие: знали о нем, можно сказать, по слухам. Был ректор, был попечитель, может быть, даже и инспектор (кажется, был), но мы его никогда не видали. Если я не ошибаюсь, он заведывал казенными студентами, имевшими квартиры и стол в университете. Тогда никаких стипендий не было, и многие бедные студенты принимаемы были на казенный счет. Прочие же небогатые, раскиданные по разным углам Москвы, содержали себя, как знали и как могли, никаких пособий от университета не получали. Казенных студентов было, кажется, если не ошибаюсь, около ста человек. <…>

Это, может быть, покажется странным нынешним студентам, что мы, собираясь ежедневно в одной аудитории, могли быть друг с другом незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, как теперь, корпорации и не были ни в чем солидарны между собой, не имели никаких обязательных друг к другу отношений. Университет был просто правительственное учреждение, открывавшее свои двери для всех ищущих знания. Мы собирались там, как собираются на публичные лекции, в церкви и т. п.

Не было никакой платы с студентов; правительство помогало только, как выше сказано, бедным студентам тем, что давало им квартиру и стол. Стипендий никаких не было. Студенты приходили на лекцию и уходили, как посторонние друг другу лица. Никто не заботился о том, что тот или другой делает дома, чем он живет, чем особенно занимается.

Поэтому у нас не было никаких сходок, никаких сборов в

пользу неимущих слушателей и, следовательно, никакой студенческой кассы. Все студенты делились на группы близких между собою товарищей: иногда прежних соучеников в школе или случайных знакомых, иногда просто соседей на университетской скамье.

Я здесь упомянул о группе Станкевича, Строева и других; потом была группа казенных студентов, семинаристов и много других, мелких кружков. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало их друг с другом. Каждая группа имела свой центр; члены ее собирались между собою, вместе вели записки лекций, вместе читали книги, готовились к экзаменам — и, конечно, часто вместе проводили время вне университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москве, сходились — кто пешком, кто в экипаже — на лекции. Ничто не отвлекало от занятий тех, кто хотел заниматься, потому что других обязательных занятий, кроме лекций, не было. Никаких балов, концертов, спектаклей в пользу неимущих слушателей не давалось; не было сходок, студенты не являлись в роли устроителей и распорядителей означенных увеселений, также не несли на себе забот решать вопрос о пособиях наиболее нуждающимся товарищам и заведывать кассами.

Все было патриархально и просто: ходили в университет, как к источнику за водой, запасались знанием, кто как мог — и, кончив свои годы, расходились.

Гавриил Никитич Потанин:

Курс университета продолжался тогда три года, и Гончаров кончил его блистательно. Какой-то странный критик опровергает успехи Гончарова и говорит положительно, что при таком составе профессоров филологического факультета, какой был тогда в Московском университете, Гончаров ничего не вынес из университетского курса. Но это совершенно неправда! Гончаров слушал известных профессоров: Снегирева, Шевырева, историка Погодина, словесника Давыдова, — неужели эти знаменитости того времени не могли ничего дельного передать Гончарову? Напротив, сам Гончаров о них отзывается иначе. Вот что по окончании курса он пишет товарищу, другу: «Хотя университетский курс теперь для меня кончен, но влияние университета не кончится никогда. Потеряв из виду вас, товарищи-словесники, я не забываю указаний наших профессоров. И теперь на службе изучаю иностранные литературы именно по тому методу и по тем указаниям, которые передали нам наши любимые профессора».

Нечего добавлять, что эти три года студенческой жизни были

для Ивана Александровича самые счастливые!

Одоление Петербурга

Михаил Викторович Кирмалов:

В начале своей жизни в Петербурге Иван Александрович испытывал недостаток в средствах и как пример рассказывал, что, идя весной, в мае, в Летний сад на свидание с одной дамой, должен был надеть ватное пальто, ибо летнего не было…

Гавриил Никитич Потанин:

В эти годы он так въелся в службу, что даже редко писал к своим. По рассказам брата, Иван Александрович был принят в доме Майкова, старика художника, там он учил детей (Аполлона, будущего поэта), там он занимался живописью и впервые попробовал свой литературный талант. Друг дома, молодой Солоницын, затеял издавать домашний, писаный «журнал» и в сотрудники пригласил Ивана Александровича. Гончаров в журнале Солоницына написал два первые рассказа.

Аполлон Николаевич Майков (1821–1897), *поэт, близкий друг Гончарова. Из письма В. А. и А. А. Майковым. 17 (29) или 18 (30) сентября 1891:*

Невольно перешел к вопросу, чем я обязан Гончарову — и припомнил его уроки. Гораздо уже позже понял я то раздвоение, которое было в его понятиях о литературе, когда он нам преподавал. Это было ведь в 1834, 35, 36-м годах. Гончаров тогда был питомец Пушкинской эпохи, но Пушкин еще не имел того значения в истории словесности нашей, как после смерти своей, и на кафедрах еще царили классики. Специальною обязанностью Гончарова было приготовить меня к университетскому вступительному экзамену, и потому он должен был познакомить меня не с текущей, пушкинской литературой и эстетикой, а с классической эпохой. Очевидно, он исполнял это как бы против себя, как бы насилуя себя, между тем на меня, я помню, те образцы, которые он читал, а мы учили наизусть, производили пленительное впечатление. У нас тогда была и хрестоматия (Греча), в которую чуть-чуть вошел Пушкин, кажется, только отрывки из «Руслана и Людмилы», а все были Державин, Ломоносов, Батюшков, Озеров, Мерзляков, Шаховской и пр. <… > Пушкина оценил позже, уж в Университете, и прямо Пушкина последней эпохи, а не романтической. Знаете что: это старая хрестоматия, может быть, и смешна теперь, но сравнительно с теми, которые были у вас в руках, сии последние кажутся ужасно жидки! Впрочем, и там в «легком роде» ужасно много вздору, а la

Карамзин стихи, особенно любовные. Женщину, как идеал — поставил Пушкин, и поставил ее выше всех европ<ейских> поэтов, — «благоговея богомольно перед святыней красоты»; но Пушкин тогда был «текущая литература», и об ней в учебных заведениях, как и теперь, говорить и спрашивать не полагалось. Поэтому и Гончаров с нами ее не касался.

Иван Александрович Гончаров. *В записи А. Ф. Кони:*

Пушкина я увидал впервые в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его — матовое, суженное книзу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос — врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи все: все ее упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений — все сводилось к нему, все исходило от него…

Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником-«переводчиком» при министерстве финансов. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал *он.* И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана… И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал… Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины… Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери!.. Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: «Погас огонь на алтаре», но цензура и полиция поспешила его запретить и уничтожить…

Альберт Викентьевич Старчевский (1818–1901), *журналист, историк русской литературы, переводчик и публицист. С конца 1840-х принимал участие в редактировании «Библиотеки*

для чтения», в 1856–1870-м — редактор «Сына отечества», в 1873–1885-м — редактор второстепенных изданий: «Современность», «Улей», «Эхо» и др.:

В семействе Майковых, по вечерам, в воскресенье и другие праздничные дни, когда собиралось много молодежи, часто происходили чтения чего-нибудь выдающегося в современной журналистике, с критическими и другими замечаниями, идущими к делу. Чтения эти введены били покойным Владимиром Андреевичем Солоницыным, о котором уже была речь выше, но со смертью его чтения эти почти прекратились, как вдруг Иван Александрович Гончаров, написав свою «Обыкновенную историю», заявил в один вечер, что, прежде чем отдать ее в печать, желал бы прочесть свое первое произведение у Майковых в несколько вечеров и выслушать замечания именно молодого, чуткого, откровенного и ничем не стесняющегося поколения; тем более что все слушатели были его ближайшие друзья и доброжелатели, и если бы в чем-нибудь замечания их оказались неверны, то их тут же и опровергнут.

В тот же день я получил от Владимира Аполлоновича Солоницына записку, в которой он приглашал меня прийти в шесть часов вечера слушать сочинение Гончарова, о существовании которого до тех пор никому не было известно. <…> На другой день я явился в семь часов вечера к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустя четверть часа Иван Александрович начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана очень легко, и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и несущественны. Вообще повесть произвела хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и по мере ближайшего знакомства с повестью развивался и интерес; все яснее и яснее выходили лица. Конечно, замысел ее незатейлив, ничего сложного и запутанного не было; но по мере ближайшего знакомства с действующими лицами все чаще и чаще становились замечания; но это были замечания слишком молодых и неопытных еще людей; дамы тоже делали в эти замечания и свои вставки, также не имевшие никакого критического значения; старики вовсе не высказывались.

Жаль, что тогда среди нас не было ни одного человека с опытом и авторитетом, который знал бы, на что следовало обратить внимание, что изменить, сократить или развить. Несмотря, однако, на самые легкие замечания молодежи, Иван Александрович обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать

изменения в повести «Обыкновенная история» сообразно с указаниями молодого критика. Конечно, Иван Александрович во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Но все же переделка эта потребовала немного времени, потому что спустя несколько дней опять назначено было вторично прослушать «Обыкновенную историю» в исправленном виде. <…>

Героем для повести Гончарова послужил его покойный начальник Владимир Андреевич Солоницын и Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский, брат которого, Михаил Парфенович, бывший с нами в университете и знакомый Ивана Александровича, близко познакомил автора с этой личностью. Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Иван Александрович выкроил своего главного героя.

Племянничек с желтыми цветами составлен из Солика (племянника В. А. Солоницына — Владимира Аполлоновича Солоницына) и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского; а прощание с матерью, приготовление к отъезду и первое впечатление, произведенное на племянничка Петербургом, — это описание своего отъезда из родного гнезда и приезд в Петербург.

Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1899), *писатель:*

Приехав в Петербург и поступив на службу в таможенное ведомство, Гончаров и не подозревал в себе будущего писателя. Скромность мнения о себе доказывается тем, что рукопись первого его романа «Обыкновенная история» пролежала у приятеля Панаева, М. А. Языкова, более года, не вызвав никакого протеста со стороны автора.

Иван Иванович Панаев (1812–1862), *писатель, журналист, соратник Н. А. Некрасова по «Современнику»:*

Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою «Обыкновенную историю». Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись «Обыкновенной истории» Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее.

Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его

собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам.

Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?..

Иван Александрович Гончаров:

Белинский месяца три по прочтении при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, прочил мне много хорошего в будущем.

Авдотья Яковлевна Панаева (по второму мужу Головачева; 1820–1893), *писательница, гражданская жена Н. А. Некрасова:*

В февральской книжке 1847 года был напечатан роман Гончарова «Обыкновенная история», имевший огромный успех. Боже мой! Как заволновались любознательные литераторы! Они старались разведать настоящую и прошлую жизнь нового писателя, к какому сословию он принадлежит по рождению, в какой среде вращается и т. п. Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и приписывали это его апатичности.

Василий Дмитриевич Григорович:

После того как «Обыкновенная история» была напечатана, с Гончаровым произошло то же превращение, как с Достоевским после выхода в свет «Бедных людей». Неожиданность успеха, похвалы Белинского вскружили ему голову. Но Гончаров был едва ли не на десять лет старше Достоевского; он успел обжиться между людьми, научился управлять своими чувствами настолько, чтобы скрывать развившееся болезненное самолюбие; этому отчасти помогала также холодность его темперамента. На вид он продолжал казаться скромным, говорил мягко и вкрадчиво. В течение многих лет, как мы его знали, никто из нас никогда не слыхал от него похвалы чужому произведению; когда в его присутствии хвалили что-нибудь явившееся в литературе, он

обыкновенно отмалчивался.

Авдотья Яковлевна Панаева:

Тургенев объявил, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы, «он даже как-то боится разговаривать о них, чтоб не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет! Посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении».

Василий Дмитриевич Григорович:

По мере того как с каждым новым произведением Тургенева имя его приобретало больше известности, Гончаров стал явно ему недоброжелательствовать и от него отдаляться.

Авдотья Яковлевна Панаева:

Я забыла упомянуть, что в 1847 году, не помню, в каком месяце, в Петербурге проездом был Гоголь. Он изъявил Панаеву желание приехать к нему вечером посмотреть на молодых сотрудников «Современника», причем, конечно, сделал свою обычную оговорку, чтобы ни посторонних лиц, ни дам не было. За час до прибытия Гоголя в кабинете Панаева собрались Гончаров, Григорович, Кронеберг и еще кто-то, а из старых московских знакомых Гоголя были Боткин и Белинский. Гоголь просидел недолго…

1847. Триумфатор

Гавриил Никитич Потанин:

Известно, что первый роман Гончарова имел большой успех как в обществе, так и в литературных кружках.

После такого счастливого успеха Гончаров пишет брату: «Еду в Симбирск повидаться с маменькой». А добрейший Николай Александрович всем рассказывает: «Брат мой, новый литератор, едет сюда», — и Симбирск проснулся от своей обломовщины. Все начинают читать «Обыкновенную историю»; все спрашивают: «А вы читали? Ах, как хорошо!» А тут еще где-то в газетах нашли первую критику романа, и так расхвален Гончаров! Добрейший Николай Александрович, по рассеянности, три раза меня спрашивал: «А вы читали моего брата? Хотите, я книжку вам дам, — он мне прислал. Ах, читали уж, приятно слышать! Как по-вашему?» Но я не ответил ничего. В то время в душе я ненавидел злодея, старого Адуева. А в городе любопытство росло, только и слышно: «едет», «скоро приедет», «ждут на днях». Помню, как новый учитель словесности Грум-Гржимайло опрометью вбежал к нам в VII класс и торопливо спросил: «Потанин здесь?.. А, вот… я слышал, вы даете уроки в доме Гончарова, пожалуйста, не забудьте тотчас известить меня, когда приедет наш новый литератор. Я знаком с Иваном Александровичем еще по Петербургу», — и убежал. <…>

Наконец сбылось ожидание Симбирска: «приехал!» Кто? Не спрашивай, все знают! <…>

Это было самое счастливое время для Гончарова; он жил здесь, если можно так выразиться, самою живою жизнью, какою только может жить человек на земле. Тут было все: и радость первого литературного успеха, и пленительные воспоминания детства, и сияющее лицо матери, и ласки, восторги, подарки тому же счастливому любимцу, и воркование слепой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и раболепие старика слуги, который, как мальчишка, бегает, суетится, бросается во все углы, лишь бы угодить Ивану Александровичу. А тут еще такой почет общества, приглашение губернатора быть без чинов, человеком своим, и, наконец, гордость купцов: «Каков наш Гончаров! Вон куда залетают из наших!» Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, он здесь вполне чувствовал, что он именно то солнце, которое все собой озаряет и радует всех. Зато надобно было видеть, как Иван Александрович в это время был жив и игрив. Боже мой! Как умилительно прикладывался к руке матери, точно к иконе, и в

порыве так страстно обнимет старуху, что та задыхается в объятиях сына, на лету ловит, целует брата, сестер, племянников, племянниц, да что и говорить о кровных родных, — он в настоящее время всем был близкий родной. Придет какой-нибудь мещанин Набоков, семьюродный внук дедушке Ивана Александровича, скажет простодушно: «На тебя пришел поглядеть, Иван Александрович! Какой-такой ты есть на свете?» — и этого он приветит, приласкает, поцелует, усадит в кресло; час толкует с ним об его огороде; спросит: «Есть ли садик? Здесь у всех садики»; узнает, есть ли семья, детки и, если беден, так денег даст. Даже с прислугой он обращался точно с братьями и сестрами; комично кланяется всем и смешит. Обнимет старого слугу Никиту и спросит:

— А помнишь, старина, какой я был маленький? Веселое было тогда время! Помнишь, как важно приходил ты к крестному во флигель звать меня к маменьке? Даже страшно было, когда ты выговаривал: «Иван Александрович, пожалуйте»… — и вдруг в тебя выстрел: «Пошел вон!» Огорчался, я думаю, ты этим, голубчик?

— Да что! — Никита махнул рукой. — Все маменька ваша изволили тогда беспокоиться понапрасну. «Поди, веди его!» А зачем вести? По-моему, Бог создал дитю для того, чтоб он играл и забавлялся, а они запрещают, — ну, разве это возможно? Хоша бы колокольня тогда. Ну, что?.. По-моему: пусть барчоночек полюбуется нашим городком — оттуда все видно. А они свое: «Расшибется!» Я тогда не вытерпел, сказал: «Эх, матушка барыня, Бог-то не в одной церкви живет, он и на колокольне нашего барчоночка спасет!» Так куда… Осерчала даже на мои разумные слова, изволили закричать: «Пошел вон, не рассуждай!» Вот и только.

Иван Александрович не вытерпел, засмеялся.

— А ты хорошо, Никитушка, рассказываешь; поедем со мной в Питер!..

— Ох, Питер, Питер! Нету, батюшка барин! Я, старик, здесь привык, в Питере, чай, больно скучно будет мне?..

— Что ты, голубчик! В Питере скучно? Да там сроду никто не скучал, все весело живут: Петербург на веселом месте стоит!

— А коли так, я, пожалуй, и в Питер поеду. Для вашей милости, батюшка барин, я теперича не токмо что в Питер — в ад готов сходить!

— Спасибо, друг!

Иван Александрович Никиту поцеловал и болтуна в Петербург взял. Софьюшка сама напросилась в Петербург: «И меня уж возьмите, Иван Александрыч, пожалуйста! Я большое

любопытствие имею поглядеть: какой такой есть на свете Петербург? Ей-богу, страшно хочется, барин!»

С Софьюшкой и Мариной барин забавлялся иначе: то сонных свяжет за ноги сахарной бечевкой, то накинет на себя белую простыню и явится перед ними в темном месте. Старые девы крестятся, визжат со страху, а он хохочет. Трогательны были его беседы со слепой няней. Мне кажется, иногда он слов не находил, как бы нежнее ее назвать. «Голубка моя возлюбленная! Помнишь, какие волшебные сказки ворковала ты мне?..» И он поцелует голубку и погладит по голове. «Хочешь, я золотом засыплю тебя за них?» Старушка обидится и шепчет с укором: «Эх, Ваня, Ваня неразумный! На что мне твои деньги в могилу? Мне всего на свете дороже твоя любовь!» — и разрыдается до истерики. <…>

Но самые веселые игры были с племянниками и племянницами. С теми разыграется, так готов хоть в козны; развозится, так готов кувыркаться и такие веселые и забавные строит им рожи, что дети визжат, хохочут до упаду; смельчаки бросаются на шею, садятся верхом и едут на литераторе. С девочками он обращался нежно: подманит лакомством, расскажет им забавные побасенки, поиграет в куклы и споет какую-нибудь песню. Особенно он любил известную тогда песнь московских цыган и пел мастерски. «Пляши, дядя!» — пищит мелюзга, и дядя пускается в пляс, по-цыгански, так же ловко, мастерски, как настоящий цыган; по всем комнатам раздается визг Ивана Александровича: «Ай, жги, говори!»

Иногда на него находило другое настроение: он, как испанец, с гитарой в руках, становился перед гувернанткой в позу гидальго и начинал: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная! Полюби меня, добра молодца!» На слово «звезда», конечно, самая высокая нота, а пение его в это время было так пленительно, голос так очарователен, что романс этот я до сих пор не забыл, а в глазах Варвары Лукиничны сверкали тогда такие огоньки, которых я сроду не видал. <…> Гончаров в такой живой жизни прожил у матери долго, и общество дворян и купцов осаждало его день и ночь, точно они хотели видеть невиданного страуса или белого слона.

— Что это такое? — говорил литератор тоскливо. — Они не дают мне с Машуткой играть. Уедемте, мама, лучше в наш сад под гору, там и будем жить, как в скиту; туда не все доберутся. А здесь ты, Никитушка, сделай вот что: запирай с утра парадную дверь на крючок и без дозволения и доклада мне отвечай им в щелочку: «Дома нет». Кого нужно мне, я скажу. Проводы Гончарова были торжественны, как самого почетного и знатного лица в городе. Много колясок и карет, конечно, и с дамами,

провожали его до Кандарати, где он оставил загадочный стишок: «Ах, Кандарать, Кандарать, хорошо здесь ночевать!» и что-то шепнул другу по секрету; тот ответил серьезно: «Счастливец ты во всем и ночью и днем». Трогательны были проводы матери с сыном-любимцем. После напутственного молебна старушка чуть не упала в обморок, обнимая бесценного Ваню, — точно она предчувствовала, что расстается с ним надолго-надолго…

Бегство

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Петербург, 23 августа (4 сентября) 1852 года:*

А знаете ли, что было я выдумал? Ни за что не угадаете! А все нервы: к чему было они меня повели! Послушайте-ка: один из наших военных кораблей идет вокруг света на два года; Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем сказано было, что, между прочим, нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне; я принялся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции. Но вот мое несчастье: на днях этот начальник выехал на некоторое время в Москву и, воротясь оттуда, тотчас отправится в море, так что едва ли я успею видеть его; потом, как я узнал после, нужен человек собственно не для русского, но более для переписки на иностранных языках, а этого я на себя не приму. Впрочем, во всяком случае мне советовали повидаться с начальником экспедиции и узнать от него подробнее, что нужно. Стало быть, надежда не угасла еще совсем.

Вы, конечно, спросите, зачем это я делаю? Но если не поеду, ведь можно, пожалуй, спросить и так: зачем я остался? Поехал бы затем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. Я полагаю, что если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, *прожил* бы остаток жизни повеселее. Потом, вероятно, написал бы книгу, которая во всяком случае была бы занимательна, если б я даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу. Наконец, это очень выгодно по службе. Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. <…>

Свойство нервических людей — впечатлительность и раздражительность, а следовательно, и изменяемость. Может быть, я бы скоро и соскучился там, что и вероятно, мучился бы всем — и холодом, и жаром, и морем, и глушью, дичью, куда бы заехал, но тогда бы поздно было каяться и поневоле пришлось бы искать спасения — в труде.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма П. Ф. Броку. Петербург, 2 (14) сентября 1852 года:*

Ваше Превосходительство.

Честь имею почтительнейше доложить, что я сочту

особенным для себя счастием принять обязанность секретаря экспедиции, снаряжаемой вокруг света на фрегате Паллада, на тех условиях, которые мне предложены Вашим Превосходительством чрез столоначальника Департамента внешней торговли Львовского. Не могу выразить всей своей признательности за просвещенное и благородное содействие Вашего Превосходительства к успеху моего предприятия.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма В. П. Боткину. Петербург, 26 сентября (8 октября) 1852 года:*

Всем приятелям хочется сказать хоть по одному слову перед отъездом в дальний и неверный путь. Мне осталось пробыть в Петербурге всего несколько часов: что ж могу сказать, кроме *прости,* но прости *до свидания.* Языков Вам объяснит, куда и зачем я еду, — еду везде, но зачем, еще сам хорошенько не знаю! Еду вокруг света, но далеко ли уеду с своим здоровьем и не вернусь ли с дороги, — это вопрос, которого теперь разрешить не берусь.

Константин Николаевич Посьет (1819–1899), *публицист. Принимал участие в плавании на фрегате «Паллада», очерк о котором был опубликован в журнале «Современник». 14 (26) октября 1852. Из Зунда:*

Мы снялись с якоря 7-го октября около полудня; пароход «Отважный» буксировал нас еще около 40 миль, за остров Сесакр, где принужден был бросить буксир, потому что усилившийся ветер развел большое волнение. Вскоре пошел снег, и мы продолжали полдня лавировать в густом, снежном сумраке; но едва миновали Гохланд, термометр поднялся до 50 теплоты, ветер переменился и за исключением некоторых лавирований, мы бежали до Зунда со скоростью от 8-ми до 10-ти миль в час. Знакомство с фрегатом, в чисто морском, служебном отношении, самое приятное; он оказывается прекраснейших качеств; качка на нем самая покойная, и ему нужно весьма немного ветра не совсем противного, чтобы делать по 8-ми миль в час, а по 11-ти миль — дело обыкновенное.

Ефим Васильевич Путятин. (1803–1883), *граф, русский адмирал, государственный деятель и дипломат. Руководил плаванием на фрегате «Паллада»:*

31-го октября прибыл в Портсмут фрегат «Паллада», вышедший из Кронштадта 7 числа того же месяца. На нем, кроме командира флигель-адъютанта Унковского, было 22 человека офицеров и 439 нижних чинов. <…> Сверх того прибыли также: архимандрит Александро-Невской Лавры Аввакум, хорошо

знающий китайский язык, и два чиновника министерства иностранных дел и финансов; один назначен был для исправления должности переводчика китайского и манжурского языков, а другой — должности секретаря при мне.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Лондон, 3(15) – 4(16) ноября 1852 года:*

После трехнедельного трудного, опасного и скучного плавания мы наконец бросили якорь в Портсмуте. Долго было бы рассказывать все, что с нами было в это время, а было понемногу всего. Мы немножко прихватили холеры, от которой умерло трое матросов, четвертый немножко упал с мачты в море и утонул, немножко сели в Зунде на мель, но снялись без всяких повреждений, выдержали три бури, которые моряки не называют никогда бурями, а свежими и крепкими ветрами. Вчера втянули фрегат с рейда в гавань и будут привинчивать водоопреснительный аппарат. Наш адмирал тотчас же явился из Лондона в Портсмут, осмотрел и фрегат и нас, велел мне написать бумагу, а потом, уезжая, сказал мне, что я могу отправиться в Лондон. Что Вам сказать о себе, о том, что разыгрывается во мне, не скажу под влиянием, а под гнетом впечатлений этого путешествия? Во-первых, хандра последовала за мной и сюда, на фрегат; потом новость быта, лиц — потом отсутствие покоя и некоторых удобств, к которым привык, — все это пока обращает путешествие в маленькую пытку, и у меня так и раздаются в ушах слова, сказанные, кажется, при Вас одним моим сослуживцем: Tu las voulu, George Dandin, tu las bien voulu! [16] Впрочем, моряки уверяют меня, что я кончу тем, что привыкну, что теперь и они более или менее страдают сами от неудобств и даже опасностей, с которыми сопряжено плавание по северным морям осенью. В самом деле, едва мы вышли из Кронштадта, как нам прямо в лоб с дождем и снегом задул противный ветер, потом мы десять суток лавировали в Немецком море и за противными же ветрами не могли попасть в Английский канал. Между тем плавание по Финскому заливу и по Каттегату считается весьма опасным и не в такую глубокую осень. — Слава Богу, что на меня совсем не действует качка: это, говорят, зависит от расположения грудобрюшной преграды, то есть чем она ниже расположена, тем лучше. Видно, она помещена у меня в самом брюхе, потому что меня не тошнит вовсе и голова не кружится и не болит, так что нет никакого признака морской болезни, и я до сих пор, слава Богу, не знаю, что это значит. Вот что скажет океан: там, говорят, качка бросает корабль как щепку. Но я, однако ж, должен сознаться, что качка и на меня действует

скверно, хотя и иначе, нежели на других. Она производит сильное нервическое раздражение: я в это время не могу ни читать, ни писать, ни даже думать свободно. Стараешься развлечься, забыться, зарыться в смысл фразы, которую читаешь или пишешь, — не тут-то было: непременно надо уцепиться за стол, за шкаф или за стену, а то полетишь; там слышишь, от толчка волны что-нибудь на палубе с грохотом понеслось из одного угла в другой; в каюте дверь и окно постоянно друг с другом раскланиваются. К этому прибавьте вечный шум, топот матросов, крик командующего офицера, свистки унтер-офицеров — и днем и ночью, вечно нужно исполнять какой-нибудь маневр, то поднимать один парус, то распустить другой, то так поставить, то эдак, — покоя никогда нет. Можно, конечно, ушам привыкнуть к этой суматохе, но голове — никогда. <…> Я был очень болен зубами: у меня ревматизм обратился, как я вижу, в хронический; если б это повторилось еще теперь, пока мы в Англии, очень немудрено, что я бы и воротился: и без того трудно путешествовать человеку, не воспитанному с детства для моря, но странствовать больному — беда.

У нас на фрегате дня два гостил у капитана его товарищ, находящийся по службе в Лондоне, некто Шестаков. Оба они сегодня предложили мне ехать в Лондон — и вот я — в Лондоне. Часа два как приехали из Портсмута по железной дороге. С жадностью вглядывался я в новую страну, в людей, в дома, в леса, поля — потом вздремнул, когда смерклось. Отсюда до Портсмута 84 мили (миля — $1^1/_2$ версты) мы ехали часа три, поезд был огромный; со всех сторон стекаются на похороны Веллингтона, или дюка, как его просто называют здесь. <…> Мне бросились в глаза и в вагонах, и на станциях, и на улицах — множество хорошеньких женщин. Это, кажется, царство их. Наконец здесь, где я теперь остановился, на целый дом прислуживает прехорошенькая девушка лет 20, miss Эмма. Меня ужас берет, как посмотрю, что она делает. Она отперла нам двери, втащила наши sacs de voyages, развела в трех комнатах огонь, приготовила чай, является на каждый звонок и теперь топает над моей головой, приготовляя мою комнату. <…> Чувствительный Карамзин называет англичанок *мило видными:* это название очень верно, хотя и смешно. Но на меня эта *миловидность* действует весьма оригинально: как увижу *миловидную* англичанку, сейчас вспомню капитана Копейкина. Но вот miss Эмма спрашивает меня что-то, никак не разберу сразу, заставляю повторять себе по два и по три раза, и, когда сам, ворочая всячески мой собственный и английский язык, совру что-нибудь непонятное, она говорит мне вопросительно: sir? а когда скажу так — молчит. Во всяком

случае, я бы привел сюда мерзавца своего Филиппа и всех российских Филиппов посмотреть, как работают английские слуги. До завтра: идем ужинать.

Утро превосходное, не английское. Тепло, как у нас в августе. Мы оставили в России морозы, а только спустились за Ревель, началось тепло, продолжающееся до сих пор, так что пальто Клеменца из толстого трико гнетет меня, как панцирь. Спал я как убитый, может быть, от портера, который я употребляю ежедневно, а также и устриц; сотня стоит всего два шиллинга. Я бы написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми сопровождается вступление мое на чужие берега, но я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием *Путешествие Обломова.* там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п. Все это происходит со мной и со всеми, я думаю, кто хоть немножко не в черном теле вырос.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. Портсмут, 20 ноября (2 декабря) 1852 года:*

Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним, а если не нахожу, то освещаю их светом своего воображения, может быть, фальшивым, и иду путем догадок там, где темно. Теперь еще пока у меня нет — ни ключа, ни догадок, ни даже воображения. Все это еще подавлено рядом опытов, более или менее тяжелых, немножко новых и совсем не занимательных для меня, потому *для меня,* что жизнь начинает отказывать мне во многих приманках на том основании, на каком скупая старая мать отказывает в деньгах промотавшемуся сыну. Так, например, я не постиг поэзию моря и моряков и не понимаю, где тут находили ее. Управление парусным судном мне кажется жалким доказательством слабости ума человечества. Я только вижу, каким путем истязаний достигло человечество до слабого результата — проехать по морю при попутном ветре; в поднятии или спуске паруса, в повороте корабля и всяком немного сложном маневре видно такое напряжение сил, что в одном моменте прочтешь всю историю усилий, которые довели до уменья плавать по морям. <…> Напрасно капитан водил меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны или как фрегат ляжет боком на воду и скользит по волнам по 12 узлов (узел — 1 $^{3}/_{4}$ верст) в час. Эдак и пароход не пойдет, — говорит он мне. Да зато пароход всегда идет, а мы идем двое суток по 12

узлов, а потом десять суток носимся взад и вперед в Немецком море и не можем, за противным ветром, попасть в Канал. <…> Само море тоже мало действует на меня, может быть оттого, что я еще не видал ни *безмолвного,* ни *лазурного* моря. Я, кроме холода, качки, ветра да соленых брызг, ничего не знаю. Приходили, правда, в Немецком море звать меня смотреть фосфорический свет, да лень было скинуть халат, я не пошел. Может быть, во всем этом и не море виновато, а старость, холод и проза жизни. — Если вы спросите меня, зачем же я поехал, то будете совершенно правы. Мне, сначала, как школьнику, придется сказать — *не знаю,* а потом, подумавши, скажу: а зачем бы я остался? Да позвольте еще: полно — *уехал* ли я? откуда же? только из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я вчера уехал из Лондона, а в 1834 году из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д. Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет своего утла, семьи, дома? Уехать может тот, у кого есть или то или другое. А прочие живут на станциях, как и я в Петербурге и в Москве. <…> Поэтому я — только выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы и волнения, которые помешали бы мне ехать. <…>

Так вот зачем он уехал, — подумаете Вы, — он заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце; ничем не освежалось воображение и т. п. Все это правда, так, я совершенно погибал медленно и скучно: надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее, — это все равно, лишь бы изменить. Но при всем том, я бы не поехал ни за какие сокровища мира… Вы уж тут даже, я думаю, рассердитесь: что ж это за бестолочь, скажете, — *не поехал бы,* а сам уехал! да! сознайтесь, что не понимаете, так сейчас скажу, отчего я уехал. Я просто — *пошутил.* Ехать в самом деле: да ни за какие бы миллионы; у меня этого и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: Вот вам бы предложить! Мне захотелось показать Вам, что я бы принял это предложение. А скажи Вы: С какой бы радостью вы поехали! — я бы тут же стал смеяться над предположением, что я поеду, и, разумеется, ни за что бы не поехал. Я пошутил, говорю Вам, <…> а между тем судьба ухватила меня в когти, и вот я — жертва своей шутки. Вы знаете, как все случилось. Когда я просил Вас написать к Аполлону, я думал, что Вы не напишете, что письмо нескоро дойдет, что Аполлон поленится приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал, прежде моего не хочу, уже доложил письмо, я — к графу, а тот давно подписал бумагу, я

хотел спорить в департаменте, а тут друзья (ох, эти мне друзья, друзья) выхлопотали мне и командировку, и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала. Уезжая, я кое-кому шепнул, что вернусь из Англии, и начал так вести дело на корабле, чтобы улизнуть. Я сильно надеялся на качку: скажу, мол, что не переношу моря, буду бесполезен, и только. На другой же день по выходе — буря! Просыпаюсь — меня бьет о стену то головой, то ногами, то другой более мягкой частью; книги мои все на полу, шинель, пальто качаются; в окне то небо появится, то море. Не тошнит ли, думаю: нет, хочется чаю, хочется курить — все ничего. Пошел вверх — суматоха, беготня, а море вдруг очутится над головой, а потом исчезнет. Стою, смотрю, только крепко держусь за веревку, ничего, любопытно — и только. Э, да вы молодец, — говорят мне со всех сторон, — поздравляем, в первый раз в море и ничего! Каков! А кругом кого тошнит, кто валяется. Так на качку вся надежда пропала. Думал было я притвориться, сказать, что меня, мол, тошнило, и даже лечь в койку, это мне нипочем. Но морская болезнь лишает аппетита, а я жду не дождусь первого часа, у капитана повар отличный, ем ужасно, потому что морской воздух дает аппетит. Другая хитрость: я стал жаловаться на вечный шум, на беготню и суматоху, что вот-де я ни уснуть, ни заняться не могу. Этому помогала моя хандра, о которой не знали на фрегате. Я говорил, что меня тревожит и топот людей, и стук упавшего каната, и барабан, и пушка. Обо мне стали жалеть серьезно, поговаривали, что лучше, конечно, воротиться, чем так мучиться. Но и это вскоре рушилось. Я сошел как-то во время чая вечером в каюткомпанию: кто-то спросил, зачем часов в 5 палили из пушки? Да разве палили? — сорвалось у меня с языка, я опомнился, но поздно. Все расхохотались, и уж и я с ними, а пушка-то стоит почти рядом с моей каютой, да ведь какая: в 4 аршина. Сказать разве, что, мол, — боюсь опасностей. Но этого даже и своей маменьке нельзя сказать. Наконец я сознался капитану, что мне просто ужасно не хочется, что Китай и Бразилия и занимают-то меня, как я теперь вижу, не слишком много, что я уж и не молод, а здесь беспокойно, на вытяжке, и нравы, и привычки, обычаи не по мне. Ну, хотите я вам устрою возвращение? — сказал он. — О благодетель! И в самом деле устроил, наговорил адмиралу, что я ужасно страдаю, скучаю и мало сплю (*не ем* он не говорил, язык не поворотился, я ведь у него ел, так он видел, а спать, когда ж я много спал?)

Адмирал выслушал с участием, призвал меня (это было в Лондоне), сказал, что он очень жалеет, что удерживать меня не станет, что лучше конечно воротиться теперь, чем заехать

подальше и мучиться. Только жаль, прибавил он, что вы не предвидели этого в Петербурге: теперь некого взять на ваше место. Он выхлопотал мне даже у посланника поручение в Берлин и Варшаву, чтоб я мог воротиться на казенный счет. И я несколько дней прожил в Лондоне надеждою увидеться скоро с вами опять. Посланник сказал, чтоб я съездил скорей в Портсмут за своими вещами и явился опять к нему за бумагами. Я приехал третьего дня в Портсмут и — не поехал более в Лондон, а еду дальше вокруг света. Опять задача — вот поймите-ка меня, не поймете. Уж так и быть, скажу: когда я увидел свои чемоданы, вещи, белье, представил, как я с этим грузом один-одинехонек буду странствовать по Германии, кряхтя и охая отпирать и запирать чемоданы, доставать белье, сам одеваться да в каждом городе перетаскиваться, сторожить, когда приходит и уходит машина и т. п., — на меня напала ужасная лень. Нет уж, дай лучше поеду по следам Васко да Гамы, Ванкуверов, Крузенштернов и др., чем по следам французских и немецких цирюльников, портных и сапожников. Взял да и поехал. <…> Опять тот же капитан устроил дальнейшее мое путешествие, сказал адмиралу, что я не прочь и дальше ехать, что я надеюсь привыкнуть. Адмирал был здесь и опять призвал меня, сказал, что, конечно, мне лучше ехать, что ревматизм в щеке пройдет под тропиками, где о зубной боли не слыхивали, что к шуму и беготне я так привыкну, что перестану и замечать, что если для меня, как для незнакомого человека с морем, страшны опасности, лишения, так в обществе 500 человек их легче сносить, что, наконец, я буду после каяться, что отказался от такой необыкновенной экспедиции. Я остановил его словами: *я еду*. И вот еду, прощайте. Все, что только есть дурного в морском путешествии, мы испытали и испытываем. <…> Выехали мы в мороз, который заменился резкими ветрами; у Дании стало потеплее, как у нас бывает в сенях осенью; а я перед открытым окном раздевался, потому что когда окно закрыто да выпалят, так окно вдребезги; уж у меня два раза вставляли стекла. В качку иногда целый день не удается умыться, некогда, а в Немецком море, когда мы десять дней лавировали взад и вперед, нисколько не подвигаясь дальше, стали беречь пресную воду, потому что плавание могло продолжиться еще месяц, и выдавали для умыванья морскую, которая ест глаза и не распускает мыла. Мой Фаддеев воровал мне по два стакана пресной воды, будто для питья. И на капитанском столе стала тогда чаще являться солонина, так что состаревшиеся более от качки и морских беспокойств, нежели от времени, и ослепшие от порохового дыма куры и утки да выросшие до степени свиньи поросята поступили в число тонких блюд. И теперь, сидя за этим

письмом, закутанный в тулуп и одеяло, я весь дрожу от холода, в каюте сыро, отовсюду дует, дохнешь и пустишь точно струю дыма из трубки, а все дальше хочется, дальше. Мало того, меня переводят из адмиральской каюты в самый низ, с офицерами, где каюты темные, душные и маленькие, как чуланчики, рядом в общей комнате вечный крик и шум, других кают нет, фрегат битком набит — и я еду, еду, с величайшей покорностью судьбе и обстоятельствам, даже с странною охотою — испытать эти неудобства, вкусить крупных и серьезных превратностей судьбы. Говорят, что мы вкусили будто бы самое неприятное, — не верится. Впереди — если не будет холода, так будут нестерпимые жары, если не будет беспокойной качки Немецкого моря, так будут океанские штормы, и т<ому> п<одобные> удовольствия. Правда, как только мы выступили, у нас сорвался сверху и упал человек в море: спасти его было нельзя, он плыл за фрегатом и время от времени вскрикивал, потом исчез. Таково было наше обручение с морем. Потом появилась холера: мы по-морскому похоронили троих матросов, потом в Зунде сели на мель. Были туманы, крепкие ветры, а плавание до Англии считается самым опасным. Я вам не писал ничего об этом, чтоб не было преувеличенных толков, потом хотелось мне написать вам побольше, вдруг, да все или развлекался, или зубы болели. — Когда офицеры узнали, что я хочу воротиться, они — странно — опечалились, стали упрашивать, чтоб я остался. Я сказал, что предоставил капитану переделать дело, как он хочет: если переделает опять, я останусь и буду молчать, если нет, тоже молча уеду. Некоторые побежали к капитану и просили опять поговорить адмиралу. И что я им сделал, что им во мне? Дуюсь, хандрю, молчу — а они! чудаки!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Портсмут, 8 (20) декабря 1852 года:*

Впрочем я, как только могу, стараюсь примириться со всеми настоящими и будущими неудобствами путешествия, даже мысленно, воображением укатываю разные кочки и успеваю иногда до того, что мне делается легче при толчке. Этим искусственным способом я выработал в себе драгоценную способность — не скучать. Для этого мне стоит только по временам живо напоминать себе мое петербургское житье со всеми подробностями, и особенно продолжить его вперед по той же программе, и в одну минуту во мне опять возрождается охота ехать дальше и дальше; тогда мне ясно представится, что, уезжая, я выигрываю все, а проигрываю только материальное спокойствие, да некоторые мелкие удобства, лишение которых

исчезает перед интересом моей затеи. А когда воображение разгуляется да немного откроет картину чудес, ожидающих нас впереди, когда почувствуешь в себе не совсем еще угасшую потребность рисовать, — так в одну минуту увидишь, что непременно надо было уехать, даже покажется, что иначе и не могло случиться. От этого я довольно равнодушен к тому, что вот уже третий месяц я живу как будто в сенях, в холоде и сырости, сплю в койке, до которой прежде, может быть, не решился бы дотронуться, помещаюсь, пока фрегат еще в доке, на бивуаках, вчетвером в одной каюте старого английского корабля, что вещи мои разбросаны, бумаги и книги в беспорядке, что разъезжаю по рейду в лодчонке в такую погоду, в которую в Петербурге не показывают носа на улицу, и т. п. Даже еще хуже: теперь, когда на фрегате поселился адмирал, стало теснее и мне придется жить в одной из офицерских кают <…> почти ни света, ни воздуха. В верхней каюте я выпросил только себе уголок — поставить столик для занятий. К этому ко всему представьте странность или фальшивость моего положения среди этих людей, которые почти все здесь — в своей тарелке, военные формы, к которым я не привык и которых не люблю, дисциплина, вечный шум и движение, — и Вы сознаетесь, что мне дорого обойдется дерзкое желание посмотреть *африканских людей.* <…> Ваша Еничка правду говорит, что я уехал на *Лысую гору:* почти вроде этого, только и недостает что ведьм, судя по тому, что рассказывает наш штурман, который едет вокруг света *в четвертый* раз. Что будем делать — еще сами не знаем, только к 50 пушкам прибавили здесь еще 4 бомбические пушки (для бросания бомб), а в трюме лежит тысяча пуд пороху. Адмирал изредка поручает мне писать кое-какие бумаги, но в должность свою я порядком еще не вступил. Большую часть бумаг, и именно по морской части, пишет он сам с капитаном Посьетом, который взят по особым поручениям. Мне он объявил, что главною моею обязанностию будет вести журнал всего, что увидим, не знаю для чего, для представления ли отчета или чтоб напечатать со временем.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. Портсмут, 20 ноября (2 декабря) 1852 года:*

Адмирал сказал мне, что главная моя обязанность будет — записывать все, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся: ничего не выйдет, ни из меня Гомера, ни из них — аргивян. Но что бы ни вышло, а им надо управлять судном, а мне писать, что выйдет из этого — Бог ведает.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Портсмут, 27 декабря 1852 (8 января 1853) года:*

Ну наконец мне отвели постоянную квартиру: Вы ее знаете, Мих<айло> Алекс<андрович>. Это та самая, в которой, помните, мы так долго ждали лейтенанта Бутакова? Только ее перегородили на две части: одну отдали Посьету, адъютанту адмирала, а другую мне. Подле двери окно и маленькая щель, или, по-здешнему, люминатор, сверху, дают мне свет. Мне предлагали каюту внизу, вместе с офицерами, но там ни света, ни воздуха и вечный шум от 20 чел<овек> офицеров, собирающихся тут же рядом в кают-компании. Вверху тоже шум от маневров с парусами, но к этому, говорят, можно привыкнуть, притом он происходит все-таки вне каюты, а внизу — в самой каюте, потому что она в одной связи с общей комнатой. Я или, лучше сказать, Фаддеев убрал очень порядочно мой уголок. Я купил хорошенькой материи для обивки, клеенки, а казна дала прекрасное бюро и комод. Наделали мне полок, на которых разместились все книги и разная мелочь и дрянь, составляющая неизбежную утварь всякого угла, как бы он ни был мал. Только Фаддеев распорядился так, что книги все (он же у меня и библиотекарь) уставил назад по темным углам за занавеской, а дрянь, как-то: туфли, щетки, ваксу, свечи и т. п., выставил вперед. Зачем, мол, это ты так распорядился? — А легче — слышь, доставать. — Да ведь и книги надо доставать! — Третий месяц как едем, ни одной не доставали! — простодушно отвечал он. Правда твоя, — сказал я, — оставь их там, где поставил.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Портсмут, 27 декабря 1852 (8 января 1853)года:*

Что будет, как выдержу все труды, страхи и лишения, не знаю, только задумываюсь. Впрочем, кого из близко знакомых ни поставлю на свое место, вижу, что едва ли бы кто годился вполне в этот подвиг. Все не понимаю, зачем это судьба толкнула меня сюда? Я решительно никуда теперь не гожусь по летам, по лени, по мнительному и беспокойному характеру и, наконец, по незавидному взгляду на жизнь, в которой не вижу толку. Мне даже стыдно становится подчас: сколько бы людей нашлось подельнее, которые бы с пользой и добром себе и другим сделали этот вояж! А я точно дерево, как будто и не уезжал никуда с Литейной. Разве что суждено мне умереть где-нибудь вдалеке, так это могло бы случиться и проще, дома, особенно теперь, в холеру. Тут есть какой-то секрет; узел мудрен, не могу распутать. Подожду, что будет.

Морская история

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. А. Языкову. Английский канал, 9 (21) января 1853 года:*

Мне кажется, если б я теперь воротился домой, то первые дни жил бы непременно под влиянием нынешних моих впечатлений. Я бы не мог равнодушно смотреть на свободно стоящую мебель: мне все казалось бы, что ее надо *принайтовить,* а окна *задраить,* книги и разные мелочи уставить на полках с *рейками* и вообще взять нужные предосторожности против качки. При первом *свежем* ветре я, забывшись, ждал бы, что сейчас *засвистят всех наверх брать рифы,* т. е. уменьшать паруса. Вот неудобства плавать на парусном судне: ни погулять свободно, ни сесть отдохнуть на палубе; надо совершенно благословенную погоду, чтобы можно было ходить прямо или чтоб на палубе не толкалось человек 200, а часто и все 400.

Иван Александрович Гончаров. *Из очерка «Два случая из морской жизни»:*

Мрака неизвестности теперь нет: каждый уголок моря, залив, бухта, глубина, подводные камни, каждый берег — все описано в так называемых лоциях, показано на картах, как кварталы, площади и улицы города. Известен характер каждого моря, как нрав человека: его сердитые и тихие минуты, все привычки и капризы. Времена года под каждой широтой — все исследовано и записано, и новейший мореход плывет по готовому, уже растолкованному уроку. Он только наслаждается плодами предшественников и если попадет на подводный камень, так по собственной неловкости или по небрежности. Голодная смерть — тоже мудреное дело: морские переходы, благодаря парам и изучению теории ветров под всеми широтами, сократились более нежели втрое: в Америку из Англии прежде надо было плыть месяца три, а теперь ходят туда в две недели; на мыс Доброй Надежды вместо полугода приходят в пять, много шесть недель. Легко запастись на такой срок провизией и водой. Провизию сушат, прессуют и сохраняют в наглухо закупоренных ящиках на целые годы. Наконец придумали паровой снаряд для превращения соленой морской воды в пресную, следовательно, нельзя умереть от жажды. Корабли так крепко строят теперь, что мачты редко ломаются, и рули тоже, а если и случится такой грех, то искусство и опыт научили заменять на время мачту стеньгой (верхняя часть мачты, на которой прикрепляется парус), вместо настоящего руля делают фальшивый и кое-как добираются

до ближайшего места, а в ближайшем месте есть верфь или европейская фактория: путешественников ласково приютят и починят судно, а если нельзя починить, то с первой почтой, а не то так еще скорее, по телеграфу, дадут знать домой и вместо разбившегося судна вышлют новое.

Ефим Васильевич Путятин:

Как переделки на фрегате и изготовление к плаванию шхуны «Восток», так и крепкие противные ветра продержали нас в Англии долее, нежели я предполагал, и именно до 6 января 1853 года. Вследствие этого я должен был изменить первоначальный план пути мимо мыса Горна, который пришлось бы огибать в самую неблагоприятную пору весеннего равноденствия и крепких ветров, и счел более удобным направиться мимо мыса Доброй Надежды, в Зондский пролив и Китайское море, где мог пользоваться попутным муссоном <…>. В 6 день января наступившего нового года, по совершении архимандритом Аввакумом Божественной Литургии и молебна, оба судна снялись с якоря и покинули Портсмут, an того же месяца вышли в океан, выдержав в Английском канале шторм, причем фрегат «Паллада», в полном грузу сильно бивший носом, потерял утлегарь[17].

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. А. Языкову. Английский канал, и (23) января 1853 года:*

Вот уже пятые сутки бьемся еще в английском канале… Что же помешало мне писать к вам третьего дня вечером? Буря, но ведь какая! Я лег было после обеда спать, как нашел первый шквал: это — проходило облако с дождем, градом и молниею. Суматоха поднялась страшная, беготня, топот, командование и свистки. Облако набежало на фрегат, затрясло, закачало и высочило его. Но я так тепло укрылся в своей койке, что как ни любопытно было подойти к окну и отдернуть занавеску — но искать туфли, надевать халат! Так и перетерпел любопытство, а потом, когда стало опять светло, утешил себя, что *не успел.* Вдруг опять потемнело; ветер загудел как в лесу, рванул фрегат в одну, в другую сторону, и опять прошло. Через четверть часа опять стало темнеть: вижу, что спать нет возможности от возни наверху, нечего делать — оделся собственноручно и вышел на палубу. Там было все начальство и вся команда… Шквалы все сильнее и сильнее повторялись весь вечер и всю ночь, самую беспокойную с тех пор, как мы выехали. Я добрался кое-как до кают-компании и опять лег там на диванчике в верхней каюте… Качка все усиливалась. Фрегат рылся носом в волнах или ложился совсем на бок. При одном таком толчке, прежде нежели я опомнился,

меня с диванчика бросило от стены в сторону. Сначала бывшие тут офицеры испугались, думая, что диваном ушибло меня, но когда увидели, что диван помчался к дверям, а я — прямо на софу, устроенную около бизань-мачты, разразились хохотом, за ними и я. Они удивились, с какой ловкостью и как быстро я улегся на новом ложе и как покойно падал, вытянув руки и ноги, как будто заранее приготовился.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. А. Языкову. Мадейра, 18 (30) января 1853 года:*

От Англии до острова [Мадера] считается 1200 итальянских миль (около 2000 верст): мы пробежали их в пятеро суток с небольшим, случай редкий, но нас гнал штормовой ветер, и мы плыли буквально между двумя рядами холмов, из которых каждый величиной, по крайней мере, с парголовский Парнас. Не стану описывать, чего натерпишься в этом плавании, когда фрегат кладет то на один, то на другой бок, когда все на нем так и ходит взад и вперед, все скрипит, трещит, и вот, того и гляди, развалится. И это пятеро суток, не переставая. Я и трусил жестоко и каялся, что, впрочем, предвидел до начала путешествия, и даже не раз падал духом. А мы пробежали всего пятую часть одного океана, а их надо переплыть три или четыре. По временам находит сомнение, выдержу ли я? По ночам я валюсь потный, кое-как и где ни попало, днем тоже ищу покойного угла и не нахожу. Но подивитесь: если бы мне теперь предложили воротиться, я едва ли бы согласился.

За пятидневные страдания я чувствую себя вполне вознагражденным. До сих пор все еще было холодно, даже тогда, когда мы были на параллели Португалии и Италии, но едва только сегодня подошли к Мадере, как солнце начало печь, как едва ли печет у нас в июле. Мы все высыпали на палубу: чудный остров, как колоссальная декорация, рос в наших глазах — и вот оно передо мной, все то, что я до сих пор видел только на картинках, видел и сомневался. Я чуть не заплакал, когда на меня дохнуло воздухом, какого легкие мои не вкушали никогда. Я, разумеется, сейчас же бросился на берег, и, по мере того как шлюпка подвигалась к земле, ароматический запах трав и цветов становился сильнее. Адмирал, я, старший лейтенант и маленький Лазарев обедали у консула, который не знал, чем и как нас угостить. Само собой разумеется, что мадера всех сортов и цветов играла не последнюю роль за обедом и после обеда; за десертом стол покрылся всевозможными фруктами и цветами: бананы, апельсины и еще какие-то невиданные и неслыханные плоды красовались вместе. Мадера имеет, между прочим, ту

особенность, что на ней растут и тропические, и наши северные растения. Я взял один цветок и сказал хозяйке, что вложу в письмо к моим соотечественницам несколько листков с этого цветка. Вдруг моя португалка (консул — португалец) прыг в сад и нанесла кучу цветов, прося послать несколько листков и от нее. Я этого не сделал, разумеется, а сказал так, только чтобы как-нибудь ее поблагодарить за гостеприимство (она молодая, хорошенькая, бледная, с черными глазами и чудесно сложена), но теперь вот посылаю вам… Но главная часть пребывания моего на Мадере ознаменовалась преоригинальной поездкой в горы: консул и товарищи мои пустились верхом. Я тоже подумывал было занести ногу на серого коня, но, вспомнив, как дорого обходились мне такие поездки болью в ногах, остановился в раздумьи, как вдруг хозяин предложил, не угодно ли мне ехать в паланкине. Весьма угодно — и вот явилось двое португальцев с носилками — это нечто вроде детской колясочки — и помчались в горы, между виноградниками, а двое мальчишек, из которых один болтал по-французски, а другой по-английски, шли по бокам. Надо было лечь в колясочке, и я, воображая всех вас около себя, помирал со смеху, а потом привык, как будто это всегда должно быть так. По каким местам они несли меня, где я останавливался, что видел — всего не опишешь. Скажу только, что если бы я больше ничего не увидел, то было бы и этого <…> помнить всю жизнь. А они говорят, что еще у них зима, природа, слышь, мертва и т. п. Что же летом, когда я не знал, что мне делать в моем суконном пальто? Прогулка моя продолжалась пять часов, я въехал с одной стороны горы, а воротился по другой…

Константин Николаевич Посьет:

3 *февраля.* В два часа пополудни, то есть в двадцать третий день плавания от Мыса Лизарда, фрегат пересек экватор в <…> самый краткий из всех известных сроков, в которые парусные суда переходили это расстояние. Мы отпраздновали этот день благодарственным молебном. <…>

14 февраля. О жизни собственно на фрегате скажу, что мы все столько заняты как собственными делами, так и поручениями адмирала, что не знаем до сих пор, что такое скука в океане: каждый хочет извлечь из экспедиции возможную пользу. Вот главные занятия: кроме службы и различных учений, артиллерийских и парусных, астрономические, магнитные и метеорологические наблюдения и вычисления, статистика, естественная история, языки и занятия в классах с гардемаринами. Хотя качка не оставляла нас в самих тропиках,

тем не менее плавание это, продолжавшееся около месяца, было более похоже на катанье по прекрасному большому озеру. Тихий, ровный ветер, который не шумит и не свистит, а более как бы целует и вьется около вас как-то скромно и нежно; лазоревое небо, большею частью ясное, и солнце ли на нем или звезды — все оно блестит выразительнее, могучее и отраднее. Воздух так чист, вам так легко, что решительно хочется дышать за двоих. Море в цвете ultra marino волнуется без шипенья и воя, волна за волной ложится мягко, без малейшего говора и шума. И все это вместе так красноречиво, так восхитительно, так божественно хорошо, что не расстался бы с тропическим океаном! <…>

28 февраля. Представьте себе тихий тропический вечер перед захождением солнца; океан, колеблющийся задумчивою зыбью; на этом океане, в тысяче восьмистах милях от Нового Света и в тысяче семистах милях от Старого, фрегат при тихом ветре, а с фрегата, в бесконечную даль раздается хор духовной музыки: «Коль славен наш Господь!» — вот «паллада» в настоящую минуту. Кажется, все небо повторяет с нами этот гимн!

10 марта 1853. Наконец, вот и южная оконечность Африки! Вот Столовая Гора (3400 футов), левее Львиная Голова, а вправо мыс Доброй Надежды. Какие обрывы! Какие мрачные вершины! Какие бесплодные скаты! Если б португальцы не искали за этим мысом Индии, то, вероятно, назвали бы его мысом безнадежным — так мало он обещает за своими крутыми берегами.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. С. Норову, 20 сентября (2 октября) 1853 года:* Долее всего мы пробыли на мысе Доброй Надежды; именно с лишком месяц. Мы пришли туда 10 марта и дней через пять, вшестером, сделали интересную поездку внутрь колонии, застали там развязку Кафрской войны, видели толпами возвращавшихся домой кафров и готтентотов. Посетили находящегося в плену у англичан одного из кафрских предводителей, по имени Сепало, осматривали тюрьмы Черных, фермы, виноградники, минеральные ключи, взбирались на горы, словом, путешествовали вполне. <…>

12-го апреля мы поплыли далее и на другой день выдержали сильный шторм, напомнивший прежнее название, которое носил мыс Доброй Надежды, т. е. мыс Бурь. Зато дальнейшее плавание по Индийскому океану было необыкновенно быстро и счастливо. Мы пробежали это пространство, составляющее около 6000 миль, в 31 день, чего ни одному судну до сих пор, как известно из журналов путешествий, не удавалось.

Со входа в Зондский пролив, т. е. с 14 мая, беспощадные экваториальные жары жгли нас до самой Японии. Куда мы ни

заходили, всюду попадали в самый разгар лета. Ни красота Явы и Суматры и группы мелких цветущих островов, мимо которых мы шли, ни чудеса южного неба и тропических ночей не выкупали беспокойств и изнеможения, производимого зноем. Особенно досталось нам в Сингапуре и потом в Гонконге. Когда мы были в последнем, солнце стояло в зените, и лучи его падали на нас, как каленые стрелы. На Яву и именно в Малайское селение Анжер, зашли мы, можно сказать, на минуту и провели чудесный вечер в пальмовом лесу, среди сильной тропической растительности.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. Гонконг, 20 июня (2 июля) 1853 года:*

Вспоминаете ли вы иногда обо мне, видите ли мысленно меня, то бросаемого качкой из угла в угол каюты, то изнемогающего от лучей здешнего язвительного солнца или гуляющего среди пальм и потом лениво отдыхающего на мраморной веранде гонконгского клуба или сингапурской отели, где по вечерам над головами бегают ящерицы, а около балкона и по балкону летают мыши и прочая т. п. дрянь? Может ли ваше северное воображение представить себе все эти картины, сцены китайские, индийские и малайские, которые я вижу не во сне и не воображением? Что касается до меня, я часто слежу за вами, невидимо являюсь среди вас, то с апатией, то с какой-нибудь резкой, трескучей шуткой, или просто раздражительной бранью, со всем тем, что так великодушно сносили и прощали мне вы все, мои друзья, в уваженье Бог знает каких заслуг. Я теперь в странном моральном состоянии, не знаю, чего пожелать: продолжать путешествовать, — но порыв мой, старая мечта — удовлетворилась; любознательности у меня нет, я никогда не хотел *знать,* я хотел только видеть и проверить картины своего воображения, кое-что стереть, кое-что прибавить; желать вернуться — зачем? Опять к прежнему, и дай Бог, если еще к прежнему, а если того не найдешь, это прошло, исчезло, то изменилось. Так и не знаешь, что с собою делать. В ожидании чего-нибудь лучшего пока пью декокт и плачу дань климату — лихорадкой.

Константин Николаевич Посьет:

Гонконгский рейд, 26 июня (8 июля) 1853 года. Настала наконец и та минута, в которую оставляем последнее из мест, состоящих в правильном сообщении с Европой. Сегодня мы снимаемся с якоря, чтоб спешить к неизвестным берегам таинственных наших соседей.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. С. Норову. 20 сентября (2 октября) 1853 года:*

9 июля, при выходе из Китайского моря в Тихий океан, после продолжительных и несносных штилей при 25° жара в тени, мы встретили одну из тех бурь, которые известны в здешних морях под именем тифонов. К счастью, она задела нас стороной, и мы боролись с ней около 30 часов. Что за сила, что за порывы ветров! Небо и море будто слились в одну темную, непроницаемую массу; волн не было видно, это было какое-то кипение и клокотание воды в пене, в водяных облаках и вихрях. Качка была ужасная; фрегат ложился иногда почти совсем набок и тек немилосердно. У нас вырвало два паруса, и наконец зашаталась грот-мачта. Но вслед за тем ураган стал стихать, или лучше сказать, мы вышли из его круга, и мачту кое-как удержали на своем месте.

Ефим Васильевич Путятин:

С напряженным вниманием и любопытством, которое постоянно поддерживалось в течение десятимесячного плавания, завидели мы берега Японии, как страны во многих отношениях загадочной и неисследованной. С этим вместе мы достигали главного предела нашего похода, и потому минута, когда 9 августа наши четыре суда бросили якорь на Нагасакском рейде, была одной из торжественных минут нашего плавания.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И И Льховскому. Нагасаки, 20 августа 1853 года:*

Нагасаки, Япония. А ничего пока не было. Взяли да и приехали — пока только; хорошо если б приехали да взяли. Впрочем, с японцев взятки гладки. Вот они, с своими косичками, бритые, в юбках, без штанов, в мягких туфлях, приседающие, похожие на женщин до того, что до некоторой степени возбуждают фальшивую похоть к себе — а что в них толку? Они так и высматривают, чтоб мы убирались, откуда приехали. Мы сидим пока на фрегате: губернатор не смеет без спросу ни пустить нас на берег, ни принять, ни сам приехать, ни дать нам есть — обо всем послал спросить в столицу. Узнав, что у нас есть письмо к властям, он спросил: зачем же мы это письмо привезли на 4-х судах? О, бестия! Что-то будет!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. С. Норову. 20 сентября (2 октября) 1853 года:*

Первые японцы, приехавшие к нам, едва смели приблизиться к судам и только после настоятельного приглашения решились, со страхом и трепетом, взойти на фрегат.

Ефим Васильевич Путятин. *Из письма А. С. Норову. 2 о сентября (2 октября) 1853 года:*

<…> Не могу умолчать, как много я обязан вам за рекомендацию и содействие в назначении г. Гончарова в состав нашей экспедиции. Он чрезвычайно полезен мне, как для теперешних наших сношений с японцами, так и для описания всех происшествий, которые со временем должны сделаться известными публике, в особенности если Господь благословит наше предприятие, и мы успеем хотя отчасти отворить дверь, с лишком два века закрытую для европейского мира. Имея дарования живо представлять предметы, г. Гончаров в состоянии будет придать им занимательный и яркий колорит и тем может возбудить симпатию в публике к соседственной нам стране, в которой вскоре должен произойти сильный переворот.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. А. Языкову. Saddle-Islands,* 15 (27) *декабря 1853 года:*

В заглавии письма Вы видите *Saddle-Island:* это группа маленьких островов, у которых стоит наша эскадра на якоре. Дальше, в р. Янгтсекиянг суда по мелководью идти не могут, т. е. фрегат. Мы здесь уже другой месяц стоим: я дней пять как воротился из Шанхая, куда, вместе с адмиралом и другими спутниками нашими, ездил, и по службе, и так — посмотреть Китай. Шанхай — это один из пяти открытых для европейцев портов. Ходя по улицам европейского квартала, среди великолепных домов, или сидя в роскошной гостиной какого-нибудь консула, не веришь, что это — недавно еще неприступный азиатский берег; по улицам кипит толпа народа, с бритыми головами, с косами, но все почти говорят по-английски. С зарей по улицам начинают таскать тюки товаров, все к англичанам или американцам. Чай таскают ящиками, оставляя последом дорожку этой травки, которую у нас подобрали бы не одни нищие, — как у нас иногда оставляют от кулей дорожки муки. Китайские дома, рынки, базары, лавки, говор, крик, харчевни — все это напоминает мне — знаете что? Наш простонародный русский быт! Обо всем этом я иногда, на досуге, набрасываю заметки в тетради, не зная, пригодится ли на что-нибудь. Но досуга немного: я никак не воображал, чтобы так много было дела. А если дела нет, то под парусами в море не много распишешься: холодно, как теперь, например, или качает так, что столы и шкапы срываются с мест.

Иван Александрович Гончаров. *Из очерка «Два случая из*

морской жизни»:

24 января 1854 года мы вышли на фрегате «Паллада» из Нагасаки. Небо облачно, но море тихо. Идем от двенадцати до четырнадцати верст в час, прямо к югу, с попутным ветром. Ночью мы спали покойно, как будто стояли на якоре. Утром Фадеев (служивший мне матрос) на мой вопрос, под каким ветром идем, сказал: «идем фардак, ваше высокоблагородие!», то есть на фордевинд. Это такой ветер, который дует сзади, прямо в корму. Ветра, дующие с боков, называются багштаг и гальфвинд. Это все попутные ветра. Когда идут на фордевинд, паруса ставятся прямо и покрывают мачты сверху донизу; судно не клонится на сторону и представляет самый картинный вид.

С 25 января стало чувствительно, что подаемся к югу: в воздухе все теплее и теплее. Ход так же хорош; к ночи полагают пройти мимо островка «Клеопатра», а к восьми часам утра увидеть другой островок, «Сульфур», с курящимся пиком, от которого, говорят, далеко по морю разносится запах серы. Около фрегата медленно и как будто уныло носились альбатросы, огромные морские чайки. Капитан велел принести ружье, попробовать своей и моей ловкости. Но оба мы дали по промаху. Да и настоящие стрелки, в качку, притом пулей и влет, не попали бы в птицу. А когда зарядили ружья дробью, альбатросы отлетели от фрегата на расстояние вне выстрела и сели на воду, как будто догадались, в чем дело.

Не в восемь часов утра, а в три пополудни подошли мы к Сульфуру (по-латыни значит сера), потом оставили его на ветре, и на нас в самом деле раза два пахнуло серой. Но ни дыма, ни огня на вершине пика мы не заметили. Мы легли в дрейф <…>. Остров со всех сторон имеет крутые красноватые бока, местами только зеленеет на них трава. Наши нашли там жителей, которые ласково приняли гостей, то есть сначала знаками просили не подъезжать, а когда увидели, что их не слушают, то встретили с поклонами. Это, кажется, общепринятое на крайнем востоке правило гостеприимства в отношении к чужестранцам. Утесы так круты, что надо подниматься вверх с помощию веревок. Жилища жителей состоят из хижин, очень чистых, устланных циновками. Около хижин есть поля с посевами риса и кусты. Кругом острова и нашего фрегата беспрестанно играют киты мелкой породы; пускаемые ими фонтаны то и дело брызжут тонкой струей, и кое-где покажется хребет или голова зверя. В воздухе разлита влажная теплота. <…>

Темнота, дождь так и льет, как будто у нас в Петербурге. Впрочем, конец января и февраль самое неприятное время здесь,

по словам путешественников: бурно, дождливо и холодно, то есть по-нашему жарко, о морозе и помину нет, но здешние жители находят, что им холодно. Фрегат бежит, как добрая тройка лошадей, и нам пора бы быть на Лючу. Но темнота помешала в полдень определить место, где мы были, и вечером пришлось держаться открытого моря, чтоб не наткнуться на один из мелких островов. Раза два подходили к большому острову Лючу, но в тумане проскочили мимо, дальше к югу.

Наконец сегодня подошли к острову: он уже в виду, на глазомер занимает почти полгоризонта. Берег неровный, изрытый: то холм, то едва видная узкая полоса, то громадный гранитный утес. Но все еще сливается в одну массу и в один цвет — синеву, колорит всякой дали. В шесть часов вечера подошли ближе. Нас, от берега и рейда, отделяет длинная гряда коралловых рифов, в которой есть только два узких, как ворота, входа; ночью войти нельзя — как раз стукнешься о камни. Последние или скрыты под водой, или показывают свои ослепительно белые, омываемые водой и обвеваемые ветром головы: точно зубцы гребня или крепости. Прочие наши суда уже на рейде, корвет «Оливуца» и транспорт «Князь Меншиков». Оттуда приехал офицер и сказал, что он уже был на берегу, что прежде нас заходили американские суда, ушедшие в Японию, и оставили на Лючу несколько больных матрос и двух офицеров да груз каменного угля для своих пароходов. Мы бросили якорь в виду берега, недалеко от каменных рифов, и легли было спать, надеясь завтра быть на рейде, за каменной стеной, в безопасности, гулять по новому берегу, познакомиться с жителями. Все мечтали о сюрпризах, о подарках…

Ночью задул крепкий ветер, началась сильная качка. <…> Надо помнить, что мы стояли на якоре не на рейде, не в гавани, закрытой со всех сторон от ветра и моря, а в самом океане, на просторе, где ветрам и волнам полный разгул и свобода. Стали травить канат, то есть выпускать более и более каната, чтобы он не натягивался от напора ветра и не подвергался опасности лопнуть. Кажется, было вытравлено до восьмидесяти сажен прежде, да теперь стали прибавлять еще. Весь канат имеет до ста пятидесяти сажен длины. Кругом была непроницаемая мгла. Дождь хлестал с остервенением, в воздухе реяли огненные струи, ветер ревел, заглушая гром. Того и гляди, подрейфует, то есть силой ветра потащит судно и с якорем, а сняться в темноте, среди рифов, и думать нельзя. Все поглядывали заботливо друг на друга. Спать — отложили попечение. Да и качка была такая, что с постели сбрасывало. Ну как приткнет к каменьям? Через час волнением разобьет судно в щепы. До полуночи мы были в

сомнительном положении. Потом, о счастье! с переменой течения переменился и ветер, стал дуть от берега к морю, в простор. Проглянула луна, звезды, стало тепло… Пойду гулять.

Не надо ни на что полагаться слепо в жизни: судьба как будто подкарауливает человека, когда он перестанет оглядываться вокруг, не летит ли откуда-нибудь камень, и только забудется — она и отрезвит его от забвения, как отрезвила нас. Больно от спокойствия и беспечности возвращаться к тревожному чувству тоски! Нам предстояло провести еще сутки на рубеже жизни и смерти. 30 января начали было сниматься с якоря, но вдруг набежал с моря шквал: это бурный и внезапный порыв ветра. Отдали другой якорь, и от этого положение наше стало вдвое хуже. Выдайся час или два тихие — и мы успели бы вытащить один канат и один якорь, но наматывать двести сажен вместо ста, вытаскивать два якоря — надо два времени и две трудные работы. Вдобавок к этому якорная цепь за что-то задела; долго провозились за этим и стали поднимать второй якорь: в шпиле (на который наматывается канат) перевернулось что-то: ряд неудач! и он не пошел. Опять новая, непредвиденная возня и работа, и все на счет коротенького выдавшегося нам периода сносной погоды! А между тем порывы ветра повторялись все чаще. <…> «Дрейфует!» — закричал вдруг наблюдавший за лотом штурман, и закричал особенным голосом, какой является только в необыкновенную минуту: нас, с невынутым еще якорем, быстро тащило парусами — прямо на рифы… За этим криком следовал момент всеобщего оцепенения и тягостного молчания. «Отдать якорь! марсо-гитовы тянуть!» — раздалась в одно время команда — и в одно время загремела цепь, бухнул якорь в воду и паруса исчезли. Фрегат остановился: мы свободно вздохнули. Перед нами, менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы: солнце ярко озлащало сверкавший в глазах наших поток жемчуга, алмазов и изумрудов, кипевших, крутившихся и исчезавших в белой пене бурунов, и еще ярче обливало золотом зеленый, смеющийся берег. Вблизи зияющая могила, за ней глядела на нас жизнь, со всей роскошью и красотой! Вы видали, как вода кипит и бурлит под мельничным колесом: представьте исполинское колесо, на версту или более роющее воду. Океан свободно катит волны и вдруг разбивается о каменную стену! Он как будто толкал нас туда, в клокочущую бездну, и мы упирались у порога ее, как упирается человек или конь над пропастью. Ветер все крепчал, и нам оставалась борьба с океаном и вопрос с сомнением, кто одолеет? Останемся ли мы, или… Смерть от нас в двухстах саженях: как надеяться, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного

судна? <…> Зыбь идет ужасная; длинные океанские волны играют судном, как скорлупой; качка килевая, то есть вдоль фрегата, который поднимает высоко нос и бьет им со всего размаха о воду… Мы ходим под страхом, в томительном ожидании, все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга, отворачиваются, но беспокойные взгляды падают все на одну картину, все на жемчужно-изумрудную длинную, теряющуюся вдали полосу белых волн — в свирепой игре с ветром: чу! как воет: memento mori (помни смерть!) слышится в этом реве! А дальше, дальше — равнодушный, неподвижный берег: все дремлет там в покое, все дышит и блещет теплою, радужною жизнию. Под защитой его стоят и не шелохнутся наши суда, по берегу видны кровли, движутся фигуры людей, счастливых конечно! Туда бы!

Как ни быстро убрали паруса и отдали якорь, а нас в это время успело отнести более кабельтова (кабельтов — сто сажен) к рифам. <…> Но каково, однако, сутки глядеть в глаза смерти! Говорят, кому случалось на один миг стать с ней лицом к лицу, те седели. Может быть, оттого именно, что один миг, а в сутки можно и привыкнуть немного… даже умереть. К чему не привыкает человек! Если б лопнул канат, надежды к спасению не предстояло, а если б у кого и затаилась она, так сейчас найдется услужливый товарищ, который очень обязательно и обстоятельно докажет, что она тщетна. «Как тут спастись? — говорил мне один, — шлюпки с наших судов, конечно, бросятся на помощь, да ничего не сделают: к бурунам подъехать им нельзя, их как щепки втянет и измелет о камни. А если и подъехали бы — что толку? Разве посмотреть, из любопытства, как будет бить фрегат о каменья, как посыплются пушки, люди, как мы будем нырять один за другим в бездну: в этакую погоду им надо взять полное число гребцов на шлюпки, иначе не выгребут: много ли же останется места для четырехсот утопающих? Да где тут!» — заключил он, махнув рукой на рифы и отворачивая глаза в другую сторону. Смельчак С[авич] приехал в вельботе навестить нас, как приятель приходит навестить безнадежного больного, вперит в него любопытно-сострадательный взгляд, постоит, вздохнет и печально отойдет прочь. Я смотрел, как он понесся по океану в утлом вельботе, назад, за рифы, на корвет, в мирную пристань, где ни печали, ни воздыхания не было. Волны ужасные; за третьей, за четвертой волной вельбот вдруг пропадал из глаз, с мачтой, с парусами, и потом опять вылезал на пятую волну, точно из ямы, медленно, неловко, сначала носом, потом уже кормой, и не успеет стать прямо, как вдруг провалится, и минуты три не видать его, думаешь, пошел ко дну… нет, вон вылез! Долго

следил я за ним, отчасти любопытными, отчасти завистливыми глазами. «Отчего же было не поехать с ним?» — может быть, шевелится у вас вопрос в голове. А какое я имею право? Всем, конечно, хотелось бы быть на берег), а всем нельзя. Начальник экспедиции, капитан имели полную возможность уехать, но кто же это сделает? Никому и в голову не приходило об этом. Такое эгоистическое попечение о своей жизни встречено бы было — уж я и не знаю чем. Но как ни любопытно было смотреть в глаза смерти, однако ж надо было все-таки поддерживать остаток жизни, хотя, может быть, очень краткий, обедать, спать. В кают-компании — ничего особенного: по-прежнему читают, пишут; курят: почему ж и не покурить, не почитать перед смертью? «А если канат не лопнет?» Эта надежда даже внушает некоторым веселые мысли: вон Б. по обыкновению дразнит У.; сердит З.; этот последний по обыкновению хохочет. К ночи все легли спать, конечно занятые одной мыслию… Утром солнце кротко сияло над укротившимся океаном, буруны с журчаньем тихо переливались через каменную гряду: мы залюбовались, глядя на нее. Мы чуть-чуть скользим мимо рифов, минуем вход и подбираемся к берегу. Берег блещет яркими лучами солнца, улыбается, как будто поздравляет с избавлением от опасности. А ночь, а тоска, томительное ожидание? Э! подите! до того ли? Зовут на берег: прощайте!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Остров Камигуин, порт Pio-Quinto, 13 (25) марта 1854 года:*

Не только вы, мои малосведущие в географии друзья: Михайло Александрович и Екатерина Александровна, но и все наши приятели, члены Географического общества, едва ли сразу, без справки, скажут, откуда я к вам пишу, что это за остров Камигуин? Зачем я туда попал, спросите вы. Скажу вам сначала это, а потом что-нибудь другое. Остров Камигуин принадлежит к группе Филиппинских островов. <…> Возьмите общую карту Азии или просто обоих полушарий, и к югу от Китая и Японии Вы увидите как будто засиженное мухами небольшое пространство: это и будет архипелаг Филиппинских островов. Их всех до тысячи: у одной из этих тысячных долей, отмеченных на карте точкою, лежащей немного к северу от главного острова Люсона, стоят в затишье, в порте Пия V, наши два судна, прячась от англичан. Если у нас с ними война, то конечно они не замедлят явиться из Китая со всеми своими фрегатами и пароходами в Восточный океан искать и взять нас. Наши отдаваться не намерены, предпочитая, если не одолеем, взлететь на воздух. Не

одно опасение встретиться с англичанами заставило нас зайти на этот покрытый сильною тропическою растительностию, но безлюдный островок: судно наше все более и более напоминает, что ему пора на покой. <…> Еще во время выдержанного нами в июле прошлого года тифона грот-мачта зашаталась у нас, а в нынешнем году погнулась набок и фок-мачта и на днях дала трещину. Надо было куда-нибудь забежать, чтобы взнуздать ее немножко, пока придем на север, в свои колонии, и дождемся там Дианы. В другое время мы сейчас же бы зашли в Шанхай, Гон-Конг, а теперь того и гляди началась с англичанами война: эти порты в их руках и мы попались бы к ним живьем. Нейтральных портов вблизи нет, кроме Манилы (на Люсоне) да Нагасаки. Но англичане не уважают нейтральных прав, потому что и Испания, и Япония слабы и помешать им не в силах.

<…>

В последний раз я писал с <…> нашим курьером, лейтенантом Кроуном, в декабре. <…> Вскоре после его отъезда мы вторично пошли в Японию, в Нагасаки. Она так надоела нам, эта Япония, что никто из нас, ни за какие коврижки, не согласился бы отправиться в Едо. Во всем застарелое младенчество; наивная глупость в важных жизненных и государственных вопросах и мудрость в пустяках; лицемерие, скрытность, ребячество, юбки, косички и поклоны — все это надоело. На меня находит хандра при одной мысли, что, может быть, еще придется заглянуть нынешним летом опять туда. Последний месяц нашего пребывания там был довольно, впрочем, занимателен: в Нагасаки прибыли из Иеддо два важные лица с большой свитой для переговоров с адмиралом. Мы через день ездили в Нагасаки, обедали там по-японски, полномочные два раза были у нас и провели по целому дню. Они *были поражены,* по собственному признанию, всем, что видели у нас: нашим приемом, угощением, музыкой, разнообразием и богатством подарков, видом большого судна, артиллерийским и парусным ученьем, всем, всем и, между прочим, отличной вишневкой и шампанским. Оттуда мы отправились на *Ликейские острова* (Лю-Чу) (вот опять Вам случай сказать Ваше милое *не знаю где).* Я много читал об этих островах, о наивности жителей, о их гостеприимстве, смирении, кротости, патриархальном образе жизни и прочих добродетелях золотого века и считал все это за шутку первого посетившего их Базиля Галля. Но, к удивлению моему, я нашел, что картина его этой брошенной среди океана идиллии далеко не полна. Представьте, что все так, как он пишет, по крайней мере наружно. Действительно — это ряд восхитительных долин, холмов, журчащих ручейков под темным

сводом прекрасных разнообразных деревьев. Везде обработанные поля, труд и довольство. На берегу нас приветствовали какие-то длиннобородые старцы, с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами. <…>

С этих блаженных островов пошли мы в Манилу и через неделю, из глуши, вдруг очутились в месте, тоже отчасти сказочном, хотя в другом роде. Что это за ералаш! Вот, например, длинные улицы, с висячими сплошными балконами, с жалюзи, из-за которых выглядывает бледная, черноглазая испанка чистой крови или заспанное лицо какого-нибудь dottore Bartholo; с монастырями, с толпой монахов всевозможных орденов, метисов и индейцев. Тут тишина, сон и лень. Но выйдешь за стены испанского города, картина меняется вдруг: с одной стороны деятельная, кипучая торговля между полунагими полубритыми китайцами, которые по влиянию и многолюдству играют важную роль, с другой — деревни тагалов (индейское племя), которые во сне и лени не уступают своим господам — испанцам, которые все — нищие, живут в каких-то птичьих клетках, но которые ни в чем не нуждаются. Одеваются в материю домашней работы из волокон дерева, пища над головой или под ногами — банан и рис. Наслаждения — стравить петухов и выиграть заклад. А за этим за всем идут поля и плантации. Какие поля, какие леса и деревья!

Я каждый день, лишь спадет жар, углублялся в эти нескончаемые темные аллеи из бамбуков, пальм, фиг, хлебного дерева, саго (я называю здесь только то, что знаю, а сколько незнакомых!) и все не мог привыкнуть к этому зрелищу. Я жил в отели и утром осматривал город, ездил (здесь никто не ходит пешком, кроме простого народа) по лавкам. С полудня до 4-х часов все спят: я свято соблюдал этот обычай. Зато вечером — в коляску и в поля, оттуда на публичное катанье, вроде как у нас у качелей, оттуда на Эскольту есть мороженое, потом на площадь слушать превосходную полковую музыку, потом ужинать, пить чай, сидеть на веранде, любуясь на тропическую ночь, лунную, с удивительными звездами, теплую, даже жаркую. Все идут после этого спать, а я раздевался в своем номере до невозможности и, кусаемый до невозможности же комарами, при свете подлейшего ночника с кокосовым маслом (couleurs locales) — писал… Со мной бодрствовали ящерицы да *канкрля*[18], как называет хозяин-француз огромнейших, более вершка, летучих тараканов. И те и другие бегают по стенам, не делая никому вреда. Что же я писал — спросите Вы. Да записывал: то о Маниле, то доканчивал о мысе Добр<ой> Н<адежды>, то чего не кончил в свое время. Делал это просто, не мудрствуя лукаво, с свойственным мне

беспорядком, начиная с того, чем другие кончают, и наоборот. Дурно, бестолково, ничего нового, занимательного; занимательно будет только для меня одного, если только в мои лета, с моими недугами, станет у меня еще охоты вспоминать о чем-нибудь. Мой собственный, частный портфель набит довольно туго пустяками, это правда, но уж больше туда не лезет, и я думаю, по случаю этого естественного препятствия, кончить, положить перо туриста и взяться за должностной свой труд, который отстал. Адмирал несколько сердится на меня, что официальный журнал остановился и нейдет вперед. Да как ему идти? Мне никто не помогает: специальных ученых у нас нет, а записывать происшествия нашего плавания так как они есть не стоит, выходит пусто; о морском деле я писать не могу. Да и некогда было: в Японии было много бумаг, много прямого дела, а остальное время мы всё шатались по морю: а там немного напишешь: при малейшей качке нет средств писать, в жару тоже, спрятаться здесь негде. Впрочем, мы так мало были везде у берегов, что от нас никакого журнала и требовать нельзя.

Иван Александрович Гончаров. *Из очерка «Двадцать лет спустя»:*

Открылась Крымская кампания. Это изменило первоначальное назначение фрегата и цель его пребывания на водах восточного плавания. Дело, начатое с Японией, о заключении торгового трактата, должно было прекратиться. Адмирал решил идти к русским берегам Восточной Сибири… далее нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы принять по военным обстоятельствам. Может быть пришлось бы, по неимению известий о неприятеле, оставаться праздно в каком-нибудь нейтральном порте, например Сан-Франциско, и там ждать исхода войны.

Я испугался этой перспективы неизвестности и «ожидания» на неопределенный срок.

Притом два года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образа жизни.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг П. и Н. А. Майковым. Остров Камигуин, порт Pio-Quinto, 14 (26) марта 1854 года:*

Вам скажу только, что путешествие надоело мне как горькая редька, до того, что даже Манила, куда мне так хотелось и где мы пробыли недели две, едва расшевелила меня, несмотря на свою роскошную растительность, на отличные сигары, на хорошеньких

индиянок и на дурных монахов. Мне прежде все хотелось в Америку, в Бразилию, а теперь рад-радехонек буду, если бы пришлось воротиться хоть через Камчатку и Сибирь. Я за недостатком моциона хирею и толстею так, что меня теперь в хороший дом пустить нельзя. На море бы и не глядел: другие свыкаются с ним и любят, а я чем больше плаваю, тем больше отвыкаю. Качка меня бесит, буря, обыкновенное явление на море, пугает, образ жизни на корабле томит. Люди надоели, и я им тоже. Вот третий день стоим у островка на якоре, берега покрыты непроницаемой, кудрявой зеленью, такой, что Вы, Евгения П<етровна>, за счастье бы сочли каждую травку и ветку посадить в горшок в своей комнате, а я еще и не съехал ни разу на берег, несмотря на то что сегодня там был шумный обед с музыкой и разными удовольствиями. В тропиках мне невыносимо жарко, а подвинемся к северу — холодно. Зубы опять болят, и в тропиках, и на севере. Ревматизм просто водворился в виске и челюстях и беспрестанно напоминает о себе. Нет, чувствую, что против натуры не пойдешь: я, несмотря на то что мне только 40 лет, прожил жизнь. Теперь, куда ни пошлите меня, что ни дайте, а уж я на ноги не поднимусь. Пробовал я заниматься, и, к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Н<адежды>, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова — все это записано у меня, и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня только на время. Вдруг показались они мне не стоящими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные — и я бросил писать. Что ж я стану делать еще год, может быть, и больше?

Но жаловаться нечего и не на кого. Я ни минуты не раскаивался в том, что поехал, и не раскаиваюсь до сих пор, потому что, сидя в Петербурге, жаловался бы еще больше. Лучше скажу, что мы намерены делать. Мы узнали в Маниле, что английский и французский флоты уже вошли в Черное море и, следовательно, война почти неизбежна, вот мы и тягу оттуда, чтоб не пришли английские суда вдвое сильнее наших и не взяли нас. Теперь плавание наше делается все скучнее и скучнее. Нет ни одного порядочного места, где бы не было французов и англичан. Поневоле должны идти на север, прятаться где-нибудь около Камчатки. Уж если так, лучше бы вернуться. Но, вероятно, придется зайти еще в Японию. В последнее время мы зажили с японцами дружески. Они давали обеды нам, а мы им. Чего я не ел тут! Помните, я всегда обнаруживал желание пообедать у японцев

и китайцев? Желание мое было удовлетворено свыше ожиданий. Мы обедали у японских вельмож раз десять и, между прочим, однажды были угощены торжественным обедом от имени японского императора. Так как японцы столов не употребляют, то для каждого из нас сделан был особый стол, на каждом столе поставлено до 20 и более чашечек и блюдечек с разными кушаниями. Мяса не едят, и нас потчевали рыбой, зеленью, дичью, трепангами (морскими улитками), сырой рыбой, приправленной соей, и т. п. Но всего этого подают так немного, что я съел все 20 или 30 чашек да еще, приехавши домой, пообедал как следует; и другие тоже. Сжьогун прислал нам подарки, состоящие из материй (предрянных) и фарфору. Адмиралу и трем из его свиты, в том числе и мне, подарено по нескольку кусков этой материи, офицерам по дюжине тончайших, как почтовый лист, чашек. Подарки с нашей стороны были роскошны. Вельможи, напротив, надарили адмиралу превосходных вещей — такое множество, что из них можно составить прелюбопытный музеум. Некоторым из нас, и мне тоже, прислали они кое-что в подарок: лакированных ящиков, трубок, чернильниц, своего табаку. Все вздор, но я храню как редкость и как воспоминание. Если довезу, то поделюсь с вами. К сожалению, всего этого мало: мы хотели купить, да не продают.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. Залив Хаджи,* 15 *июля 1854 года:*

Угадайте, откуда пишу? Из лесу. Да. Из какого, откуда — не велено сказывать: пожалуй, предадите англичанам, особенно опять-таки Вы, мой друг Евгения Петровна. Ведь Вы женщина, стало быть, предательство — Вам разрешено самой природой. Мы теперь одни, других судов нет с нами, и оттого мы бегаем от англичан, как, по словам отца Аввакума, *бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу,* то есть когда никто за ним не гонится. Мы укрылись в одно из самых новых наших заселений, где никто еще и не живет, а кочуют тунгусы, мангуны, орочаны, медведи, лоси, соболи и выдры, где еще ничего не заведено, кроме кладбища. На нем уж успело улечься прошлой зимой до 30 чел<овек>, умерших от цинги. Мы живем все на фрегате. Я думаю даже, что берег вреден для меня, и оттого схожу редко. Я так привык к палубе, к своей каюте, перед которой из окна видна бизань-мачта с кучей снастей, а через борт море, во всех его видах, что, когда переехал в Маниле недели на полторы пожить на берегу, мне стало скучно в первые дни. Мы стоим теперь в заливе, обставленном таким частым пихтовым и еловым лесом, что он не пускает на берег. Однако ж мы ходим по едва

протоптанной дорожке. Я познакомился уже кое с кем: с Афонькой тунгусом, например, который подряжен бить нам оленей и сохатых (лосей) для мяса и который все просит бутылочку, не пустую, разумеется. Залив называется *Хаджи,* одна его бухта *Ма,* друга *Уи,* а все вместе *Ырга.* Не угодно ли поискать на карте? Мы, говорят, пробудем здесь зиму, а зимой бывает до 36° мороза. Домов еще нет. Ужасно, не правда ли? И я бы сказал это самое, если б ужасался — но чего не делает привычка, во-первых, а во-вторых, невозможность изменить? Ехать назад кругом Америки — ведь это более 25 тысяч верст, семь, восемь месяцев езды морем, мимо англичан и французов. Сухим путем ближе, всего каких-нибудь 10 тысяч верст: но не знаю, хватит ли сил пробраться через сибирские дебри и тундры, где до Иркутска надо ехать то верхом на лошадях, а я теперь не усижу верхом и на бревне, то на собаках или в лодках тянуться целые месяцы по рекам, есть тюленину, спать на снегу? Нечего делать — станем зимовать здесь. Афонька уж обещал мне принести к зиме медвежьих шкур за бутылочку. А что я стану делать? Если меня не потревожит слишком холод, голод, цинга и особенно смерть, то я желал бы — писать.

Теперь к вам преимущественно обращаю свою речь, рыболовы. Как Вы упали все в моем мнении, Вы, Николай Аполлонович, который всю жизнь носитесь со своим лещом, и вы все — Аполлон, Старик, с своими окунями. Знаете ли, что мы *выудили* при выходе из тропиков в нынешнем марте? Акулу! Это уж не ловля, а бой, опасное сражение. Мы с топорами и кольями стояли вкруг и при малейшем взмахе хвоста отскакивали — кто куда мог. Я записал всю эту борьбу и посвящаю ее Вам, Николай Аполлонович. Хотелось бы послать теперь этот небольшой отрывок из дневника, да он все-таки величиной с *мой* лист: мучительно переписывать. — Но это всё акула, скажете Вы, а не рыба. А! не рыба, а Вам рыбы надо — извольте. Я не стану говорить о ловле неводом — это Вы презираете, а мы ловим им от 10 до 15 пуд рыбы в каких-нибудь три-четыре часа и не презираем: теперь это наш насущный хлеб. Но мы ловим и крючками. Когда матросам ехать с неводом нельзя, а между тем к столу надо рыбы, тогда возьмут да и пошлют вестовых, то есть денщиков, наловить тут же с фрегата крючками. И в час, в два кто несет пять-шесть камбал, кто палтуса, кто бычков, треску, род налимов — словом, рыбы всяких форм и видов. И крючки-то какие: не те красивые из английск<ого> магазина, с изящным поплавком, стальные, с разными затеями, а просто грубые, железные. Вам еще вон надо червей копать да разводить их на зиму в цветах у Евгении Петровны, а здесь приманка — кусочек

жиру, мяса или той же рыбы. Я теперь убеждаюсь окончательно, что кто купит удочку в Cosmtique или выпишет ружье неслыханной отделки и цены из Лондона или Парижа, тот никогда ничего не поймает и не застрелит. Вот Афоньке дали ружье двуствольное, щегольское с пистоном — он пошел в лес и воротился с пустыми руками. Не умею, — говорит, — из этого стрелять — возьмите ружье. А из чего он стреляет? Из ружья, которое после всякого выстрела разваливается и которое всякий раз ему складывают и починивают наши слесаря на фрегате. А он на днях убил из него двух лосей. — Эх, вы, рыболовы!

Иван Александрович Гончаров. *Из очерка «Два случая из морской жизни»:*

На море не тратится время по-пустому, нет визитов, нет принуждения, не надо играть чувствами, то есть оказывать сожаление или радость, когда это не нужно или нужно для приличия; не надо остерегаться и держать, как говорят на берегу, «камень за пазухой» против явного и тайного врага; все это или сокращено, или упрощено: вражда превращается в дружбу или оставляется до берега, ссоры невозможны, они мешают жить прочим, а там целое общество живет не какою-то двойной, про себя и вслух, жизнию, не имеет в запасе десять масок, наблюдая зорко, когда какую надеть, а живет одною жизнию, часто одною мыслию, одними желаниями. Только воспоминания и цели у всех различные, то есть прошедшее и будущее, настоящее принадлежит всем одинаково, оно у всех общее. Там не нужно ни краснеть, ни бледнеть…

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. Залив Хаджи, 15 июля 1854 года:*

Мне надо бы воротиться уж и потому, что меня до крайности утомило путешествие. Je fais un mauvais reve[19], а не путешествую, и уж давно. <…> У меня усилился только геморрой от недостатка движения на корабле да выросло такое брюхо, что я одним этим мог бы сделаться достопримечательностию какого-нибудь губернского города. Я знаю, что такое эти тропики с своим небом и Крестом, эти бананы, пальмы да ананасы у себя дома, вся эта аристократия природы и плебеи ее — негры, малайцы, индейцы etc. Дальше уж мне и не хочется, в Америку например, потому что по трем известным легко сыскать четвертое неизвестное. Будет ли мне веселее в Петербурге — не думаю: боюсь, напротив, что приеду и места нигде не найду, кроме, однако ж, места столоначальника, которое министр обещал оставить за мной. Пуще всего

утомительно своим однообразием плавание. Да и притом никак нельзя изолироваться от свежих и крепких ветров, от холода и зною, от качки: во всем надо принимать деятельное участие, особенно в штормах. Штормы напоминают мне отчасти детство. Как буря разыгрывается, свирепеет, грозит — точно, бывало, в детстве грозят высечь, а стихнет — вдруг будто простили. Да, пора в Петербург, хотя я знаю, что там примусь за прежнее. Умственная деятельность вся опять сосредоточится в департаменте, физическая — в хождении по Невскому проспекту, а нравственная — в строгой честности, и то отрицательной, то есть не будешь брать взяток, надувать извозчиков, хозяина квартиры. Но зато хоть отдохнешь у вас да у Языковых. Дай Бог только, чтоб все было по-прежнему у вас, если уж нельзя, чтоб было к лучшему.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. А. Языкову. Устье Амура, 5 августа 1854 года:*

Я теперь сижу на мели, в устье Амура, не на фрегате, а на шкуне Восток. Фрегаты Паллада и Диана стоят в проливе, у Сахалина, а я послан к генер<ал>-губ<ернатору> Муравьеву, который теперь здесь. Он очень любезен, звал к себе в гости в Иркутск, был у нас на фрегате и на всех нас произвел преприятное впечатление. <…> *Паллада* остается в Амуре, *Диана* идет в Америку. Я еще и сам не знаю, куда направлюсь. Так как теперь дела наши (торговые, дипломатические) почти кончены, то мне бы нечего было делать здесь. Может быть, мы в средине нынешней зимы и увидимся с Вами. Приготовьте-ка мне какое-нибудь местечко на заводе, кочегара или что-нибудь попокойнее, только подле Вас.

Иван Александрович Гончаров. *Из очерка «Двадцать лет спустя»:*

Я намекнул адмиралу о своем желании воротиться… После нескольких разговоров об этом он сам сжалился. Я, видимо, стал скучать… И вот он, неожиданно для меня, со свойственной ему добротой, однажды решил: «Бог с вами, поезжайте: я знаю, что здесь вам скучно будет теперь». Я не заставил повторять себе этого приглашения и ни одну бумагу, в качестве секретаря, не писал так усердно, как предписание себе самому, от имени адмирала, «следовать до С.-Петербурга, и чтобы мне везде чинили свободный пропуск и оказываемо было в пути, со стороны начальствующих лиц, всякое содействие» и т. д. Все это происходило в устьях Амура.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма адмирала Е. В. Путятина Морскому министру. 27 июля 1854 года:*

Я счел более сообразным с обстоятельствами предоставить командированному, по высочайшему повелению, в должность секретаря при мне, столоначальнику департамента внешней торговли коллежскому асессору Гончарову отправиться сухим путем через Сибирь, в С.-Петербург, к месту его настоящего служения, ибо не предвижу ныне здесь почти никакой переписки и вообще занятий, до должности секретаря относящихся.

Доводя о сем до сведения Вашего превосходительства, я не могу не выразить вновь моей благодарности за благосклонное ходатайство Ваше о назначении г. Гончарова в экспедицию. Он, до конца пребывания своего при мне, отличался тою же деятельностью и усердием, о которых я уже свидетельствовал в препровожденном к Вам, с лейтенантом Кроуном, представлении моем от 4/16 декабря прошлого года, за № 134. К изложенным там отзывам моим о г. Гончарове с удовольствием прибавлю, что он, по своим способностям и образованию, весьма полезен для службы, и я смело могу рекомендовать его Вашему превосходительству для исполнения всякого рода важных поручений.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. А. Языкову. Из Аяна, 17 августа 1854 года:*

Я расквитался с морем, вероятно навсегда.

Александра Яковлевна Колодкина:

После путешествия на фрегате «Паллада» у Гончарова на всю жизнь явилось отвращение к морским путешествиям и вообще к передвижению водой. Он не скрывал этого отвращения.

1855. «Pour et contre». Роман в записках, письмах и диалогах

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 22 августа 1855. В Санкт-Петербурге:*

Угодно ли Вам идти к Майковым, и в таком случае позволите ли проводить Вас? Ежели останетесь дома, то повелите ли принести, или прикажете прислать показать китайские альбомы? Наконец, если ничего не угодно, то не прикажете ли мне просто лечь спать? В последней крайности я и на это готов. Ваших повелений будет ожидать

Преданный Вам по гроб включительно И. Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой.* 23 *августа 1855. В Санкт-Петербурге:*

Ваше кольцо и перчатки починены: прилагаю их. Где Вы? Не прикажете ли чего-нибудь?

Ваш усердный чтитель Гончаров.

Прилагаю также два альманаха для прочтения и надеюсь, что M-me Якубинская уснет от них нынешнею ночью очень хорошо, а M-me Богдановой желаю выздороветь.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой.* 23 *августа 1855. В Санкт-Петербурге:*

Хотя Вы угрожаете уехать только на две недели, но мне все-таки хочется пожелать Вам счастливого пути. Я даже способен бы был прийти проводить Вас на железную дорогу, как это обыкновенно делают все, которые хотят показать, что им очень жаль расставаться с отъезжающими, если б, во-1-х, мне действительно было жаль расстаться с Вами на такой короткий срок, если б, во-2-х, мне зачем-нибудь понадобилось показать Вам это — и, в-3-х, если б я знал наверное, в который день Вы поедете. <…> Что же мне остается теперь делать? Послать эту записочку, я думаю, в надежде, что Вы примете ее как доказательство, что Ваше отсутствие, хотя и кратковременное, не доставляет никакого удовольствия для Ваших друзей, и между ними и для Гончарова.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой.* 29 *или 30 августа 1855. В Санкт-Петербурге:*

Entre 9 et 10 heures du soir, n'est ce pas?[20] Вот я и в сомнении. Если утром — то уже нет никакой возможности, сейчас

— 10 часов: как быть? Entre 10 et 11 — это еще возможно — но так ли я понял? Боже мой, как я стал туп с тех пор, как Вы здесь! Говорят, это Ваша привилегия — конфузить, туманить, делать недогадливыми, словом, менять по своему произволу людей — может быть это и весело делать, но пощадите стариков!

Если Вы разумели утро, то на всякий случай я — у Ваших ног… виноват — дверей —

Ваш верный слуга Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 4 сентября 1855. В Санкт-Петербурге:*

Я сам сижу в большом кресле, медленно оправляясь после вчерашнего. Болезнь у меня упорная: едва перемогаюсь, спал много, но дурно. К утру, по обыкновению, легче.

Вы не могли или не хотели определить на словах точнее *пользы разговоров* со мной, но я рад, что письма Ваши к родным были еще не запечатаны. Там в одном слове совершенно удовлетворительно для меня выражено свойство этих разговоров, а в каком именно слове — об этом скажу, когда буду иметь *авантаж* видеть Вас.

Остаюсь все тем же, самым старым, самым преданным и самым полезным из Ваших почитателей.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 6 сентября 1855. В Санкт-Петербурге:*

«C'est inutile que vous envoyez», — avez-vous dit hier[21]. В самом деле, Вы, должно быть, любите полезное. Et moi «j'aime l'inutile»[22] повторяю я слова не то M-me Сталь, не то Севинье, или может быть какой-нибудь другой из ненавидимых мною так называемых «умных женщин», bas bleu[23], или писательниц. И потому мне, может быть и бесполезно, но *приятно* (я с некоторого времени страх как полюбил слово «приятный» и оттого, в знак особенного моего к нему расположения, даже подчеркнул его) видеть хоть почерк Вашей руки, за невозможностью видеть пока саму руку; приятно узнать, состоится ли экспедиция в Михайловский театр в том виде и составе, как она предполагалась вчера, или произошли какие-нибудь перемены, наконец, приятно даже, через Вас, услышать что-нибудь о насморке M-me Якубинской (не говорю уже о собственном Вашем насморке) и узнать, легче ли M-me Богдановой. Пользы в этом нет, но приятно сказать Вам несколько слов и еще приятнее получить их от Вас <…>.

Может быть и Вы не найдете ли полезным узнать что-нибудь о моем здоровье: мне легче, болезнь понемногу уступает силе

воли и характера; вчера спал лучше, нежели третьего дня, виноват, сегодня лучше, нежели вчера: бред и горячешные сны не мучили меня: видел сегодня просто снег во сне, а на снегу щепочку, потом скалу, а на скале букашку. Видите, какие мирные сны, а вчера, ах, Творец! <…>

До 6 часов: я являюсь к Вашему порогу — так?

До свидания же — мой очаровательный, изящный друг или враг — ей-богу, не знаю до сих пор.

Весь, всегда и всюду Ваш

Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 6 сентября 1855. В переводе с французского. В Санкт-Петербурге:*

Это будет ужасно, если Вы не придете сегодня вечером к своим друзьям. Разве Вы не можете сказать, что Вы взяли ложу, что Вы пригласили туда знакомых и что Вы находите неудобным не придти туда, не оскорбив приличий и т. д. и т. д. Но не мне ставить точки над ii для Вас. С нетерпением буду ждать известия в пять часов — должен ли я заехать за Вами. Делайте, как Вы знаете и как можете, но сделайте, чтоб это было: да. Я отдам эту записку Вашему швейцару и ответ на нее *бесполезен.* Я очень прошу прощения за эти каракули, но я спешу и боюсь, что я не встречусь с Вами снова, если этого не случится сегодня вечером.

Ваш вполне Вам преданный Гонч.

Говорят, что пьесы очень милы, и спектакль будет блестящим. В особенности, прибавлю я, если Вы захотите украсить его своим присутствием.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 6 сентября 1855. В переводе с французского. В Санкт-Петербурге:*

Что же нужно сделать? Разве Вы в самом деле хотите совершить преступление оскорбления дружбы? Но друзья всегда имеют преимущество перед родственниками. Что делать с ложей и с Майковыми, которые Вас ждут в театре? Я жду Ваших приказаний, чтобы заехать за Вами. Или же дайте мне другие приказания: каковы бы они ни были, они будут выполнены с почтительностью преданного друга и усердием готового на все слуги.

Гонч. <аров>

5 $^{3}/_{4}$ ч.

Прилагаю Ваши часы и два ключа.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 8 сентября 1855. В Санкт-Петербурге:*

<…> Так как я, по словам Вашим, «вижу за двоих», то позвольте мне *предвидеть за Вас и за себя,* что Екат. Фед. П., если Вы пойдете в Институт, того и гляди пожелает ехать с Вами к Майковым. Можно ли просить Вас *не проговориться* (Боже мой! Ну как опять рассердитесь по-вчерашнему? Я погиб — да нет, — Вы — Ангел всего, между прочим и доброты, это же совсем особый случай) о Вашем намерении провести вечер у Евгении Петровны (Майковой. — *Сост.)*.

Нет сомнения, что Вам приятнее бы было возвратиться с Е. Ф., но удостойте принять во внимание вот что: вчерашний, в высшей степени занимательный разговор для меня — не кончен, мне хотелось бы весьма пополнить его, но это все мое удовольствие, а вот и Ваше: в начале приезда сюда, и именно в первый день, Вы мне сделали вечером один и весьма важный для Вас самих вопрос: я тогда не счел себя в праве отвечать на него и уклонился, теперь напротив, я бы погрешил против дружбы, если б умолчал. Сегодня, кажется, единственный и едва ли не последний случай сделать это.

Не отменяйте же, по-вчерашнему, распоряжения явиться к Вам сегодня вскоре после 5-ти часов. Если удастся, передам Вам этот *ответ* — у Вас же, нет — так при возвращении от Майковых. <…> Кланяюсь Вам до земли, и даже ниже

преданнейший из преданных Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 18 сентября 1855. В Санкт-Петербурге:*

О ужас, Вы здесь! Вот какое было первое движение, когда я завидел Вашу миниатюрную записочку: здесь все стало было приходить в порядок, все обратились (все я употребляю в смысле on) к своим занятиям, я даже потолстел немного, словом, еще неделя и все приняло бы нормальный вид, нужды нет, что Вас и помнят и видят во сне! Второе движение — движение благодарности — за любезное и благосклонное уведомление о приезде. <…>

Я уж объяснил Вам со всею откровенностью, что Ваше присутствие вызывает столько жизни из человека, по крайней мере из меня, Ваш ум будит чужой ум, по крайней мере мой, так что трудно решить, прекрасны ли Вы больше, или больше умны? О третьей, моральной стороне, я молчу, ее еще не знаю. До свидания. Выпадет ли нынче на мою долю счастливый, может

быть, последний день — видеть Вас, поговорить с Вами и, может быть, проводить домой? Не прикажете ли чего? Сам я располагаю быть у Евг. П. тотчас после обеда. Надеюсь до свидания.

Преданный — на всю жизнь и один день

Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 19 сентября 1855. В Санкт-Петербурге:*

С благодарностью возвращаю печать M-me Якубинской и Ваш карандаш — тоже. Я им не воспользовался, не делал отметок на Вашей тетрадке, потому во 1-х, что негде, так все исписано, а во 2-х, не имею ни права, ни возможности быть цензором таких верных, безыскусственных выражений Вашего сердца. Но чтение Ваших confidences[24] мне доставило несколько приятных минут. Все написанное Вами есть верное отражение господствующего в Вас чувства — не больше. Вы конечно этого не достигали, принимаясь за перо, в противном случае, т. е. если б у Вас была другая претензия, она бы непременно высказалась в тонкостях ума, Вы впали бы в частности, в подробности, старались бы об отделке, и тогда вышло бы литературнее, но не было бы искренности. А тут примета ее заключается, между прочим, в том, что Вы, по примеру всех, так или иначе выражавших свое чувство, считали его исключением. Тоска, мечты, слезы — все это симптомы известной болезни. Зачем бы, кажется, это писать? А нужно, я знаю — помню, т. е. я сам никогда не писал, а помню, что не прочь бы, если бы меня заперли в деревне. Вам, как и всем в этом положении, жадно хочется прислушиваться к голосу собственного чувства, так что трудно заглушить в себе эту потребность высказываться. Его не было, говорить с ним нельзя, писать по почте об этом неудобно, особенно в такие места, где письма поступают в карантин, прежде нежели дойдут по адресу, — и вот Вы (и другой в таком состоянии) начинают говорить с неодушевленными предметами, сначала с письменным столом, потом с печкой и т. д. Татьяна говорила и с одушевленными, с *няней:* хорошо у кого есть няня, а у кого нет — можно слова два перемолвить хоть с *мухой.* Но все это у Вас грациозно, естественно грациозно, как Вы сами и Ваш ум, потом свежо и молодо, так что, особенно мучительная сторона страсти, даже и мне напомнило что-то былое, уже давно угасшее и забытое во мне. Позволю себе сделать одно капитальное замечание: Вы все обращаетесь к внешней *его* стороне, едва вскользь упоминая об уме, о душе etc., а то все «красивая поза», «опершись на руку» — да тут же непременно и «конь». Я все думал, что у Вас это должно быть полнее. Впрочем, Вы и сами сознаетесь в своем

дневнике, что Вы «влюблены», следовательно это еще не решенный вопрос, наступила ли бы за пылом страсти настоящая, глубокая любовь, чувство прочное и более покойное? Во всех Ваших выражениях мелькает только страсть, в виде болезни, а не сознательное и неизменное чувство. Вы смело можете показать эту тетрадку Вашему будущему жениху: он найдет, что не все для него погибло, и отроет тут много залогов на излечение. Я нахожу, что это и естественно — страсть и любовь (про которую я говорю) что-то не одинакое, или, по крайней мере, бывает иногда не одинакое. <…>

Я позволил себе сделать этот общий вывод о Вашей тетрадке, предвидя изустный Ваш вопрос о моем мнении: но изустно не выскажешь в порядке, и я предпочел написать. Но довольно, а то, пожалуй, не кончишь на листе, дай только волю себе. С Вами я особенно разговорчив: чувствую однако ж, что апатия и тяжесть возвращаются понемногу ко мне, а Вы было своим умом и старой дружбой расшевелили во мне болтливость. Еще раз благодарю за доверие, но тетрадки не возвращаю, по Вашему желанию, до личного свидания. Надеюсь, что в сказанном мною, несмотря на Вашу обидчивость, Вы не найдете ничего обидного: я счел дружескою обязанностью сказать откровенно, как и что мне кажется. <…>

Так как Вы принимаете во мне участие до того, что иногда намереваетесь спросить о здоровье, то я спешу уведомить, что я очень нездоров: у меня сверх головной боли явился кашель, и если это не кончится к вечеру, я лишусь удовольствия видеть Вас и слушать Лючию. Иду на службу. <…>

Tout a Vous Гончаров.

Вот еще Вы не уехали, а какая корреспонденция началась, какие длинные письма: зачем это, скажите, ради Бога, добро бы я дневник вел! Впрочем, это написано по поводу дневника.

Посылаю еще китайского изделия безделку: печати Вам не посылаю: жалко стало: Вы вчера не изъявили особенного желания иметь ее.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 28 сентября 1855. В Санкт-Петербурге:*

Не знаю, какую бы счастливую примету основать на этих, отданных мне Вами при выходе из театра и забытых перчатках: помогите. Я уверовал в приметы, с тех пор, как… да просто с пачки папирос. А пока я вдоволь нанюхался запаха этой кожи, удовольствие, которое Вы щедро, en veritable Fortune[25], предлагали в карете всем, кроме меня.

Посылаю перчатки, посылаю две брошюры, Майковскую и Вашу, посылаю вырезанное из газеты расписание поездов царскосельской дороги на октябрь, посылаю выражение самой живой и неизменной приязни и надежды скоро увидеть Вас.

Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 11 октября 1855, вечером. В Санкт-Петербурге:*

Не сетуйте, что, несмотря на магнетизм Ваших глаз, на вибрацию вашего голоса, чем всем Вы так могущественно на меня действуете и чем Вы выразили (невольно) желание, чтоб я *почал* альбом, я написал такое неловкое приветствие Вашей кузине. Вспомните, что неловкость есть один из признаков большой… дружбы, и снизойдите к моему бессилию. Убедитесь из этого, что у меня не всегда хорошо — *слог.* О причинах не распространяюсь, между прочим, и потому, что спать хочу. Завтра, может быть, буду умнее, в таком только, впрочем, случае, если не увижу Вас, но как от этого мне было бы скучнее, то пусть я буду лучше терпеть *горе* не *от ума,* а от глупости, лишь бы видеть вас в исходе шестого часа.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой, 17 октября 1855. В Санкт-Петербурге:*

Желание быть Вам приятным и заботливость о Ваших удовольствиях сделались моею господствующею обязанностью. Но вот случай, где не знаю, как и быть. Ложи есть, но Майковы определили обыкновенную цену, а билеты стоят вдвое (10 и 15 р. сер.). Меня это не останавливает, но как, даже в глазах близких друзей, не нарушая так назыв<аемые> приличия, купить себе право доставить Вам удовольствие? Я сказал Старику однако ж так, что если будет ложа, то Вы и я заедем за ними не позже 6 часов, а если нет, то Вы проведете последний вечер в кругу друзей, т. е. у них. Сам же я полагаю распорядиться так: заеду к Вам в 5 часов узнать Ваше мнение об этом щекотливом вопросе и, если Вы захотите ехать в театр, *несмотря ни на что, я* съезжу за билетом (билеты будут: их неохотно покупают, дороги, а спектакль неизвестен) и ворочусь за Вами в экипаже, если же Вы пожелаете провести последний вечер в кругу друзей, то не угодно ли отправиться к Евг. Петров. (Майковой. — *Сост.).* Часу в седьмом: и позволить мне проводить Вас туда и обратно в экипаже — погода нехороша.

Надеюсь, Вы позволите мне видеть Вас хоть четверть часа у Вас или в карете, по дороге к Евгении Петровне — нигде больше: не бойтесь — Бог с Вами. Ни умыслов, *ни сетей, ни птицеловства,*

о которых Вы не постыдились намекнуть мне вчера, а есть только одно неодолимое желание заслужить Ваше доброе мнение и никогда не терять его, приобресть Вашу дружбу и быть ею счастливым.

У меня хандра, хандра. Я Вас не узнал вчера и не понял: послеобеденная задумчивость, будто бы от избытка здоровья, и эти намеки… Утешаюсь, что это не Ваше, не в Вас выросло, а так, навеяно со стороны, с намерением, конечно, добрым, но излишним в этом случае. Прощайте. Какой у меня несчастный, мнительный характер! Не правда ли? До 5 часов.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 20 октября 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Тотчас после Вашего отъезда я послал к M-me Якубинской за салопом, но ее целый день не было дома, и она прислала салоп на другой день рано утром, а я в ту же минуту отослал его к г-ну Соболевскому, который возвратил его мне и отвечал, что вещей очень много и взять салопа нельзя. Вот если б прислали вчера… Не взять Вашего салопа — гнуснее поступка не может быть в нравственной природе человека! Я отправил сегодня посылку к Юнии Дмитриевне с просьбою отослать с кем-нибудь из знакомых инженерных офицеров в Москву и доставить к Вам, в дом г-жи Колошиной. К этому я приложил присланную из дома Олсуфьевых какую-то наволочку и принесенные от переплетчика Ваши книги (5 том<ов>) Феваля (ужели Вы любите этого автора?). Юния Дм<итриевна>, по доброте своей, охотно взялась сделать все, что можно.

Обо всем этом имею честь Вас уведомить.

Всем без Вас скучно, не скажу — кому более всех: при всей моей *просвире* к Вам — не могу изменить чужому секрету.

Он даже насильственно, почти посредством преступления, овладел вашим портретом. Я сегодня целый день был у Евгении Петр. И присутствовал при этой сцене: презабавная. *Он* зашел к Левицкому (Петербургский фотограф. — *Сост.)* узнать о портретах: они были не готовы, кроме сказанного. Но подмастерье Левицкого стер подлинник со стекла, думая, что он не нужен, так что теперь повторить его, без Вас, нельзя. *Он* взял портрет и принес его к Николаю Аполл. И объявил, что у него отнимут этот портрет не иначе, как если «зарежут или отравят его самого, словом, возьмут через труп». Потом прибавил, что, для снятия копии масляными красками, он может ссудить портрет, под строгим честным словом, на некоторое время и потом возьмет к себе. Евг. П. рассердилась на него, закричала, как «он смеет брать чужую вещь», а Николай Ап. смеялся и великодушно

уступил. Евг. П. заметила, что будут другие портреты, зачем ему именно этот. «Этого ни у кого не будет — заметил он — а те она раздарит другим»… «Как Вы смеете думать, что она станет раздаривать…»

(продолжение впредь)

Я написал было на том листке целую сцену, но оторвал другую половинку и пришлю ее не прежде, как если Вы изъявите желание читать дальше и если уверите, что письма доходят до Ваших рук прямо и непосредственно. Это нужно знать потому, что в описываемой мною сцене заключается как Ваша характеристика, так и других лиц оставленного Вами небольшого кружка друзей, которые, может быть, не захотели бы, чтобы о разных чертах их характера знали другие, кроме Вас. Напишите же, долго ли Вы остаетесь в Москве, прислать ли Вам продолжение письма и посылать ли по Московскому адресу? <…>

Тургенев, у которого я был вчера, спрашивал меня: «Скажите, какая прекрасная женщина живет у Майковых и можно ли там увидеть ее?» Я показал ему шиш. Вчера у Евг. Петр, обедала Юлия Дм., Старик с женой <…>, вечером пришел Аполлон с Анной Ивановной. Нужно ли говорить, как живо присутствовали Вы в воспоминаниях, как говорили о Вас, как вырывали у чудака Ваш портрет из рук и как он энергически защищал его.

Обратите внимание на оторванный лист: памятен ли он Вам?

Прощайте. Зачем не могу сказать — до свидания.

Всегда Ваш Гончаров.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой.* 25 *октября 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе? Кинуться Вам в ноги и в умилении поцеловать одну из них, а буде можно, то и обе — Вы не велите, находите это унижением, а я вижу тут только понижение, взять одну из Ваших рук и почтительно-страстно приложиться к ней: пальцы закованы в броню колец, которые охлаждают пыл поцелуя. Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники, а я на службе был (когда пришло письмо), подумают, не рехнулся ли я. Но Вы поймете и без всего этого, как я рад: faut-il encore mettre les points sur les ii[26]? Но не думайте однако ж, что Вы первая вспомнили обо мне, а не я о Вас, что Вы первая написали ко мне, а не я первый к вам: доказательство должно быть давно в Ваших руках — это мое письмо. <…> Вы не подозревали, конечно, что навстречу Вашему письму неслось уже мое, не чувствовали, что за Вами помчалась моя неотступная

мысль, летала, как докучливая муха, около поезда, врывалась нескромно в семейный вагон, тревожно отыскивая Вас среди узлов, мешков, ребят, старых и молодых княгинь, успокаивалась подле Вас час, два, потом усталая, измученная, летела в столь любимый Вам Петербург и теперь ревниво допытывается, к кому направлены Ваши наиболее горькие сожаления, о ком были Ваши слезы?.. Нет, не догнать, не предупредить и не опередить Вашей дружбе мою, не переспорить меня в этом. <…> Ваша дружба — как легкий, прохладный ветерок в летний день, нежит, щекочет нервы, приятно шевелит их, как струны, и производит музыку во всем организме. Моя — как воздух проникает всюду, всего касается, заходит в легкие: надо уйти на дно морское, чтобы защититься от него. Хорошо, если б она сделалась такою же необходимостью для Вас, как воздух, чтобы Вы не пожелали, в защиту от него, обратиться в рыбу. «Вы плакали», пишете Вы, а о чем? <…> Знаете, как мне жаль, что я не видал Ваших слез никогда: мне не достает их для полноты очерка всей Вашей физиономии. Если бы Вы были здесь, я готов бы был разобидеть Вас, чтобы Вы заплакали, чтобы поглядеть, как из Ваших глаз «сыплются эти перлы», сказал бы поэт, и то восточный. Особенно хотелось бы видеть эти слезы, о которых Вы пишете, сосчитать, сколько их пролито вообще, досталось ли на мою долю, и если досталось, то сколько именно. Смекните на досуге и уведомьте об итоге поаккуратнее. Вы отвечаете на это всегда, что «слезы портят лицо, глаза красны» etc. Да Боже мой: разве только хороши сухие и ясные глаза? Рисовать — так, но чтоб не забывать никогда таких глаз, как Ваши, нужно изредка видеть их плачущими. Вы знаете — к чему проводник — слезы, но Вы не хлопотали о том, чтоб я не забывал Ваших глаз, оттого, конечно, никогда и не показывали слез.

Не подозревали Вы и того, что Вы едва успели миновать Тверь, а у меня в голове, неправда, в душе, созрел уже план прилагаемой при этом главы романа, Вы еще не огляделись в Москве, а план был уже набросан на бумагу, теперь переписывается и завтра посылается к Вам — не того романа, который должен быть готов через полтора года во имя Ваше (имеется ввиду «Обломов». — *Сост.),* а того, который начался в душе героя и Бог весть когда кончится. Это одна из больных, жалких страниц романа: за что на Вас ляжет печальная обязанность читать ее. Дружба героя тяжела. Я даже в сомнении, посылать ли эту исповедь героя, довольно безобразную, как рана, которую человек пытается показать другу только потому, что надеется возбудить ею не отвращение, а участие. У героини много власти — во взгляде, в голосе, в слове: за отсутствием двух

первых, благотворно может действовать последнее и уже подействовало. Посылаю еще и потому, что Вас это может позабавить, заставить не раз улыбнуться, а местами Вы не без участия увидите, как мучительно герой допытывается узнать героиню до самой маленькой веснушки на лице, до крошечного пятнышка на совести, чтобы любить ее или без сомнений, или прояснить их и любить со всеми пятнышками и веснушками. Ужели Вы без любопытства посмотрите на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только — или забвение им героини, или ее горячее участие. Я тоже принимаю участие в герое: мне жаль его. Того участия, которого ему недоставало в жизни, он уже не найдет, и ему предстоит одинокая и печальная старость. Позади у него мало доброго: он увлекался иногда без пути и толку и часто страдал оттого, что чересчур добросовестно смотрел Бог знает на что. Вот источник его сомнений.

Прежде нежели скажете что-нибудь о самом отрывке, не скажете ли, если можно поскорее, о том, что Вы его получили. Сегодня я взял Ваш браслет и булавку: отдам их Николаю Ап., который будет отправлять портреты. Я уже писал, что я насильно взял один из них, но его на время отнимают от меня, чтобы сделать новую фотографию. Я возьму себе еще оттиск с последнего портрета, он хорош, и все это спрячу в глубине бюро. <…>

Зачем это Вы уехали отсюда? Или бы Вы не приезжали, а если приехали, то не уезжали бы никогда. <…> Вы обещаете мне письмо — сколько надежд и радостей! Потом, может быть, ответите на отрывок — отрывком же? Да? Буду ждать.

Здесь началась обыкновенная жизнь, какая была до Вас: да что в ней? Никуда и ничего не хочется. Я уже уклонился от нескольких вечеров и обедов. Теперь вечер: я не выходил, пишу и не скучаю. Этого со мной давно, да, кажется, никогда не случалось.

У Майковых все то же. Вчера в воскресенье особенно живо вспоминали Вас. <…> Ко мне время от времени подходили Евг. П., Старушка, с вопросом: отчего я мрачен, апатичен, неподвижен, а другие замечали просто, что я «толст». У меня вертелся на языке каламбур, что я «*отолстел*» совсем, но я умолчал. <…> Что за погода: дождь льет, слякоть. Это право оттого, что Вы уехали. <…>

Глупо письмо: где же взять ума? Ведь Вас уже нет. При Вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 28 октября 1855. Из Санкт-Петербурга:*

<…> Это печальное обстоятельство, т. е. неполучение от Вас писем, дало мне повод вынуть из бюро Ваш портрет, поставить против себя и вот эдак с вами беседовать. Доведя до сведения вашего, нежнейший (по цвету лица, по крайней мере) друг наш Елизавета Васильевна, об этом участии небольшого кружка Ваших поклонников и поклонниц во всем, что до Вас касается, упомяну, между прочим и о том, что последний, заказанный Вами портрет уже готов, но только вчера утром мог быть выдан, за отсутствием солнца, в двух экземплярах, из которых один я, по данному Вами дозволению, взял себе. <…> Сходства много, но Вы на портрете годами пятью старше — и потом, где тут Ваш сияющий умом и добротой взгляд, где мягкость линий, так гармонически сливающихся в волшебных красках румянца, белизна лица и блеск глаз? Этого нет, но все дополняется памятью сердца, многими неизгладимыми следами Вашего присутствия, словом, Вы живете здесь между друзьями и долго будете жить силою красоты наружной и внутренней. Аминь.

Мы оба с Николаем Ап. в одно утро, только часом раньше один другого, заходили за портретами, и обоим нам Левицкий горько жаловался на «друга Вашего детства», что он заезжал к нему вечером и «этот мальчишка, какой-то корнетик, фат, дрянь» (его выражения)… тут он назвал также его фамилию, как и я называю, «нашумел, накричал, чтоб ему отдали портреты, заносчиво требовал, чтобы прислали ночью, что работают дурно, зачем это не готово, он едет и т. п.» Левицкий отвечал, что если бы портреты и были готовы, то он их не отдаст, потому что, без приказания, женских портретов никому не отдает, что он знает только Майкова и Гончарова, знакомых с *нею,* и отдаст им, а не ему. «Я не хочу знать ни Майкова, ни Гончарова, возопил друг детства, я еду, зачем не готово? Да скажите Майкову, чтоб он прислал мне какой-то салоп. Эти бабы!…» — заключил он с досадой. Это — подлинные слова, переданные Левицким мне и Ник. Аполл. <…>

Сообщаю Вам об это единственно по желанию Евгении П. и еще более потому, что, может быть, по ее предположению, Вы извлечете из этого для себя маленький опыт. Она, как и все здесь друзья Ваши, не только любят Вас, но и уважают: иначе, ни одною любовью без уважения, ни одним, конечно, и уважением без любви, такого общего благоприятного впечатления сделать нельзя, какое сделали Вы. Все тронуты Вашей красотой, изяществом, добротой и умом, всем, чем наградил Вас так щедро le hazard, но вместе не менее тронуты и достоинством, с каким

это все Вами поддерживается. От этого, вероятно, Евг. П. и дает Вам эти, по ее мнению, нелишние советы и предостережения. <… >

Сделать еще маленькую сплетню? Извольте: для Вас чего не сделаю? Одна очень добрая особа заметила: «Зачем это *она* едет с *ним:* мне это не нравится?» Я, в оправдание, должен был сказать, что *он,* кажется, интересуется видеть *другую,* а потом прибавил, что ведь она ездила иногда здесь с другим домой, или из дома <…>. «По городу, 2 версты, а не 100 верст, и потом не с 20-летним мальчишкой и наконец»… Тут этому другому сказан был комплимент, который скучно повторять. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за это *эхо,* как и за все другие *эхи:* Вы сами сказали — пишите все — и уверили, что я все-таки буду «приятен». Посмотрю, так ли это. Надеюсь, что если это письмо и не застанет Вас в Москве, то его перешлют Вам в деревню. Прощайте.

Что если вдруг от Вас завтра письмо придет? Это ничего, что на него опять к Вам скоро придет ответ? Вы скажите откровенно, если это Вам не нравится, я тотчас замолчу и как в воду кану.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. Pour et contre. Продолжение из письма от 20 октября 1855 года:*

«Кому она подарит?» — «Да хоть этому, которому поручено отвезти их в Москву». — «Юноше, мальчику: Вы не в своем уме. Порядочная женщина дарит свой портрет с величайшей разборчивостью и осторожностью, а она, с ее умом, тактом! Да ему и не дадут этих портретов, их отошлют по почте». — «Что ж такое, что мальчик, да тут есть *конь,* она любит это, и притом ее девиз *не оставлять недовольных».* Хозяйка не слыхала этого, она перешла в другую комнату и ворчала мне в ухо: «На станцию она приехала с заплаканными глазами и высохшими от волнения губами…» «Это оттого, что она прощалась с M-me Якубинской, — заметил я, — та была так добра к ней»… «Неправда, — крикнул он на меня, — я знаю, с кем она прощалась. Она охотно соглашалась, чтоб мы не приходили провожать ее, а когда мы настояли на том, *он* не пришел»… «Потому что был en grande tenue[27]», — подсказал я. В это время женский голос вдруг сказал громко в гостиной: «Я пила у ней кофе в одно утро, и этот юноша был там: она настоятельно приказывала ему явиться в Москву, чтобы проводить ее в деревню»… «Слышишь», — заметил мне мой приятель и изменился в лице. «Не может быть, — сказала хозяйка, — верно, она пошутила, что ей до этого мальчика!» «Я сама слышала, это было при мне, — прервал опять женский

голос. — Смотрите же, сказала она, я вас жду в Москве и без вас не поеду»… Дело было плохо, и мне становилось трудновато защищать ее. «Это он не для нее, а для *кузины* едет», — шепнул я ему. Он топнул на меня ногой. «Неправда, — сказал он, — ты эдак поверишь, что она обедала у Н. Нет, она берегла его про запас. Она знала его с малолетства, а она любит друзей детства. Так вот отчего она два дня не давала знать о себе, когда воротилась из Царского, с ужасом прибавил он: ей нужно было видеться с ним, а при других не хотелось»… Я засмеялся. «Я удивляюсь, что тебе за дело, — сказал я, — что она подарит один портрет этому… как его, Мертвецов, что ли, или пошлет другой в Малую Азию, третий в Казань и т. д. и устроит так, чтоб *все были довольны ею?* По какому праву ты строг и взыскателен к ней? Ведь только по праву ипохондрика»… «Друга»… «Мнительного, — добавил я (Я жарко принял ее сторону). — Ведь она тебя не любит?» «Нет», — с печальной уверенностью отвечал он. «Видишь ли! А права дружбы очень ограничены»… «Если разуметь под именем *дружбы* толпу старых знакомых — оно так; но если между друзьями установились довольно сильные и определенные отношения, тогда двух таких друзей иметь нельзя». «Ты же сам сравниваешь дружбу с *просвирой:* так есть ее — суха, с супом — неприлично, на утро к чаю она засохнет, а между тем она святая! Это совершенно справедливо»… «Я не хочу, чтобы из моей *просвиры* вынимали частицы за здравие других», — сказал он. «Стало быть выходит, что твой идеал — кокетка, или слабая женщина, как многие», — заметил я. «Ах, она не такая по своей природе, — живо с умилением прибавил он: она такое артистическое щеголеватое создание, она аристократка природы — ей дано все, чтобы быть единственной из числа немногих — возвышенностью характера, чистотой сердца, прямотой и достоинством, а она — как «многие», говоришь ты. Многие и многие берут взятки, сплетничают, присваиваю! себе чужое, а мы ведь с тобой — нет, зачем же ты и ее хочешь толкнуть в эту толпу глупых, плоских, пошлых, нравственно безобразных женщин?» — «Я вовсе ничего не хочу, а только думаю, что ей негде было в деревне, у своих, видеть образцов высокого женского достоинства, что она, как артистическое произведение, по твоим словам, создана больше для красы, для поэзии, роскоши и блеску общества, а не для существенной надобности; это драгоценная картина»… «Но у нее есть тонкий такт и ум: ведь она не отупела же умственно в деревне, а развивалась головой, шла вперед: отчего же остался такой пробел в нравственном ее воспитании»… «Оттого, может быть, что она слишком хороша собой, а поклонники слишком искательны, настойчивы, живы, любезны,

кладут к ее ногам все: она нет-нет да наконец и сжалится. Если б она рано вышла замуж за порядочного человека, с головой и с сердцем, он бы конечно твердой рукой повел ее к ее назначению, и она была бы безукоризненной женой, может быть, идеалом жен, в роде римских матрон. А теперь она dans une fausse position[28], или лучше сказать, position incertain[29]. От этого ей иногда поневоле придется принять услугу от какого-нибудь юноши, чего бы в другом положении она ни за что не сделала, и за это улыбнуться ему, а от улыбки естественной и прямой переход к пожатию руки и т. д. Она, если ты прав в своих догадках насчет этого юноши, разбрасывает сокровища, которые, при других обстоятельствах, должны быть достоянием одного счастливца. Мужчины, как терновые кусты: женщина, пробираясь между толпой их неосторожно, как на кусте, на каждом оставит по клочку платья, т. е. женского достоинства, и если долго будет бродить между ними, то можешь сам вообразить, в каком положении выйдет оттуда». «А ведь это правда», — отвечал мой приятель. «Вот и она наружно усвоила себе вид гордого спокойствия, а под этим, за недостатком серьезного содержания и интересов в жизни, кроется тоже мелочное стремление нравиться всем, выражаемое более или менее тонко и умно… и так пройдет она путь, как многие, пока не увянет, не оставив глубокого и неувядаемого следа в каком-нибудь одном честном, любящем и понимающем ее сердце, а только в портретах, да мы, старики, с отрадой будем вспоминать, как она была хороша, а будущая молодежь недоверчиво станет глядеть на нас»… «Какую печальную картину рисуешь ты мне… как это жаль!». «Да, да, она суетна, тщеславна, — задумчиво говорил мне приятель, — это самое желание распространить везде свои портреты показывает, что она дорожит своею репутацией красавицы». — «Еще бы не дорожить: всякий дорожит и должен дорожить данным ему даром». «У нее есть и альбом — с целью, конечно, собрать отовсюду дань похвал и увековечить их до старости». «А что ж тут беды, — сказал я. — Если даже и есть немного кокетства, сознания своей красоты — ты хочешь отнять у нее все человеческие слабости, того только, что она умнее других! Что же ей, сидеть за поучительным словом, что ли, да рассуждать со стариками о пользе добродетели и вреде порока… Ты не ценишь то, что она выдержала, строго и прилично, курс молодости, что молва до сих пор не смеет коснуться ее репутации: это разве не подвиг в своем роде, при ее красоте, мягкости сердца»… <…> «Да, это правда», — сказал он, пораженный неожиданным энергическим оборотом моей защиты, и мучительно задумался, преданный внутренней борьбе. «Но как же она пожалела об

одном, — продолжал приятель, — который хотел переехать жить в Москву, «а не в Петербург?» — живо сказала она, «как мне жаль Вас», как, сокрушаясь, что «расстается с друзьями», настаивала, чтобы ехать накануне в театр»… «Ну, это с горя, — сказал я, — pour s'etourdir»[30]… «Нет, нет, — упрямо твердил он, — это суетность, тщеславие. Она только говорит, что не умеет лгать, притворяться, но это то самое спокойствие и гордость и помогают ей без смущения выдерживать себя в минуты, когда другая женщина невольно изменила бы себе. Скажи ей все, что мы говорили с тобой», — прибавил он. «Зачем?» — «Так, из желания добра». — «Лукавишь!» — «Ах, нет», — почти со слезами сказал он. «Побожись». Он побожился. «Чего же ты хочешь, чего требуешь от нее?» — «Сам не знаю, ничего не требую, а желаю ей совершенства — во всем, для нее же». — «Так ты думаешь, как Плюшкин у Гоголя, что *против душевноспасительного слова она не устоит*. Нет, этой причины мне мало, чтобы иметь право говорить ей. Ты воображаешь, что если скажешь ей доброе слово, так она и не поедет с Мертвецовым в деревню, не будет с мальчиками по утрам пить кофе, а вечером уверять «друга», что не видит их совсем, что не подарит портрета и т. п.». — «А может быть, и не будет?» — «А разве тебе это нужно?» — «Не мне, а ей нужно, все для нее». — «Какой ты добрый: да не хочешь ли ты жениться?» Вдруг лицо его просияло: по нему пробежала точно молния и исчезла. «Рад бы в рай, да грехи не пускают, — сказал он. — Жениться, — мечтал он вслух, — ведь это значит не расставаться с ней, любоваться ее глазами, умом, грацией, жить успокоительно и исполнить свое назначение под надзором ее дружеского взгляда, под теплыми лучами обворожительной доброты ее сердца… Это значит никогда не хотеть умереть — невозможно, невозможно». — «Так видишь ли, что ей за дело до друга и что за нужда слушать его, если ей от него никакого проку нет». — «Если друг не может жениться, так разве из этого следует, что надо так небрежно бросать сокровища ума и сердца туда и сюда? Разве надо беречь себя, жить безукоризненно только для того, что это может не понравиться тому или другому», — сердито заметил он. «Ты влюблен и ревнив», — сказал я. Он молчал. <…> «Нет, так она ничего не сделает». — «А может быть и сделает, — сказал он, — в ней тьма достоинств, поверь, больше, чем недостатков, в ней есть врожденная честность, доброта — женская, выражающаяся с тою грацией, которою она проникнута вся, до костей и мозга; ум у нее прямой и светлый, логика, с которой трудно бороться софизму»… «А ты пробовал?» — «Немного, больше для опыта и… не победил ее: она сначала указала, где софизм, а потом исполнила мое желание, но по

другому уважению. Вся эта честность, эта внутренняя женская гордость и благоразумие только немного помяты в долгой девической жизни, от неосторожного прикосновения». — «Скажи откровенно, если бы она принимала по утрам тебя, поехала в деревню с тобой, подарила бы портрет тебе, ты бы… что посоветовал?» — спросил я. Он вдруг смутился. «Я… я… — начал он, — да ведь я — исключение, друг, я бы принял все это, как «просвиру» и надеялся бы, что она не сделает этого для другого… Притом, знаешь что, — сказал он с твердостью убеждения, — если б я и не читал ей морали, то наслаждался бы ее увлечением, не употребляя его во зло и расквитался бы потом за него всею своею жизнью. Но ведь это не должно повторяться»… «Говорил ли ты ей когда-нибудь о ее недостатках?» — «Когда мне случалось замечать ей, — отвечал он, — о том, что ей не идет, — через две недели этого как будто не бывало»… <…> «Да ты, может быть, замечал ей о прическе, которая ей не идет» — «Нет, нет, — с досадой сказал он, — я говорил ей, например, о провинциальной педантичности, с которой она иногда кокетничала умом, позировала (в чем, правду сказать, и греха нет: это только преследуется у нас в женщине, потому что им указана слишком легкая роль, а это доказательство серьезного ума и стремления к порядочности), или наоборот, когда она подолгу останавливалась на каких-нибудь мелочах, институтских разговорах и т. п. за недостатком интересов серьезнее, или если они и есть, или были, то нельзя было обнаружить их»… «Ну, что ж она?» — «Все как рукой сняло и я впал в admiration[31] перед этим стремлением к усовершенствованию; как она ловит малейшую заметку о недостатке и как работает над собой! <…> Разве это не залог честности, дельности, добра и вместе власти над собой: как ее не любить, как не привязаться к такой женщине душой, как не благословить ее, не искать сблизиться с ней, не тем, так другим способом, и не желать ей счастья, счастья, счастья»… «Ну, опять ты пошел, а забыл кокетство, суетность!». Он как с облаков упал. «Да, да, точно, — спохватился он, — и это исправление ее, — продолжал он, — вследствие моих замечаний о педантичности, о казуистике и т. п. происходило тоже от суетности. Замечания эти касались только наружной выправки, она заботилась тут о том, чтоб держать себя безукоризненно в салоне, говорить с тактом в обществе, — все для внешности, все из мелкого побуждения действовать на толпу, нравиться всем, не думая об отыскании и исправлении каких-нибудь капитальных недостатков. А попробуй сказать ей: не кокетничай, не неряшествуй, ни физически, ни морально, как в потере вещей из мешка, в раздирании платьев, в разбрасывании носовых платков и денег по полу и по диванам,

так и в отношениях с разными лицами, а взвешивай свои отношения строго, не рассылай по всем концам света портретов из суетности и кокетства, не будь слепо доверчива ко всем, не лукавь»… «Не укради, не убий, не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна, — продолжал я, — так и увидишь, что ничего не выйдет». «А может быть, она и взглянет на это строго и серьезно»… «Нет, для этого не стану ей говорить». «Да отчего же ты не сам скажешь ей? Ты книги сочиняешь, лучше меня выскажешь». — «Скажи причину уважительнее, может быть, я и передам ей все это, а то она, пожалуй, рассердится за этот непрошенный анализ ее поступков: ты вон «друг», а я ровно не имею никакого права». — «Как непрошенный: да она требовала этого сама, просила, чтобы ей говорить о недостатках»… «Вот это другое дело. Ну, а потом что?» — «Потом — ничего: я ее забуду». — «Зачем и за что?» — «Да так: мне как-то от этой дружбы больно. А больно потому, что она женщина: не могу же я в самом деле любоваться на нее, как Пигмалион на Галатею, не могу запретить ей и увлекаться, а когда она увлечется… мне как-то делается неловко. Уж такая странная дружба. Чувствую, что мне надо сначала забыть в ней женщину и потом встретиться и помнить как друга». — «А жениться нельзя?» — спросил я. «Трудно, почти нельзя: надо, чтоб она изменилась до основания, а тогда бы она, может быть, не была бы так хороша, изящна»… <… > «И так неряшлива». — «И притом надо, чтоб она любила меня, и сильно». — «А если б она согласилась выйти за тебя?» Он сомнительно покачал головой. «Это, впрочем, сделало бы ей большую честь, — сказал он, — это — еще прекрасная черта в ее нравственной физиономии». Мне стало смешно. «Как ты скромен», — сказал я. «Ты не смейся, — возразил он, — она дала мне свою дружбу не даром: во мне она видит, конечно несправедливо, преувеличенно, олицетворение некоторых нравственных достоинств мужчины — и в этом обнаруживается более, нежели в чем-нибудь, залог превосходства ее нравственной натуры. Она оценила добрые качества»… «Однако ж не до того, чтобы полюбить тебя, тебе вручила «просвиру», пожалуй, может быть, вышла бы за тебя замуж, а румянец и огонь взглядов — все это обращено туда, где замешался *конь* и *пожарная каска* и т. д. Видишь, как это поверхности но, неразвито — чем она не похожа на других?» — «Вижу, вижу; да — des choses les plus sures la plus sfire est le doute[32]. Я ее непременно забуду», — решительно сказал он. «Как же ты это сделаешь?» — «А вот реже буду смотреть на это», — указал он на портрет. «Так дай его мне», — сказал я, взяв портрет. Он бросился на меня, схватил одной рукой за ворот, а другой стал отнимать портрет. Между нами завязалась

драка. Он вырвал портрет и успокоился. «Зачем ты хочешь лишить меня последнего утешения смотреть на это изящное создание и воображать такие же внутренние совершенства». — «Это хороший способ забывать», — сказал я. «Изредка буду смотреть, — отвечал он, — в большие праздники, или в дурном расположении духа, или перед дурным поступком или после… в первом случае, чтоб удержаться, во втором, чтоб сильнее раскаяться». — «Ты неисправим». — «Ах нет, я чувствую и теперь возможность забыть ее». — «Да и как не чувствовать: идеал твой уже побледнел перед действительностью, когда ты рассмотрел его поближе (как она и сама предвидела и предсказывала: она знала себя лучше). Кумир шатается на пьедестале: если ты подбавишь к этому немного мужской гордости, сознания достоинства, твердости — так через месяц, через два»… «А, да, ты прав: Диоген все искал с фонарем среди бела дня «человека», я искал «женщину» и, встретив *ее,* хотел потушить фонарь, а теперь»… «Теперь?» — «Брошу, не найдешь, да и надоело, не под лета… Буду искать спокойствия — отныне это мой идеал». — «Ну, а если все эти темные пятна — только призрак, фантом, если ты смотрел на все это сквозь призму ее доверия к тебе и по этой аналогии судил о ее отношениях к другим — ты не боишься оскорбить ее?» — «Нет, она знает меня, я все-таки чувствую, что скажу это не совсем обыкновенной женщине, и не боюсь, она оценит побуждения, которые заставляют меня так заниматься ею, взвесив уродливость моего характера, свои слабости, и улыбнется тою улыбкою, в которой так много грации, ума и доброты». — «Ну, если все это есть в ее улыбке, так она улыбнется — из кокетства. Право, лучше не говорить ей ничего»… «Нет, нет: если она увидит даже фальшивый свой портрет, то по нему ей легче будет самой себе определить свою физиономию, а я обещал ей помочь в этом»… «Ну, смотри! — сказал я, — не скажет она: *«восхищаюсь и удивляюсь»». «Скоро, скоро надо мною…»* — запел он на голос Fra poco[33] из *Лючии* и пошел домой. «Когда же ты забудешь ее?» — спросил я вслед. «А вот когда исполнится со мной то, что пою теперь», — и он продолжал петь.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. Pour et contre. Окончание. 3 ноября 1855 года:*

Лучший мой друг вбежал ко мне в понедельник вечером, с сияющими глазами, с письмом в руке. «Как я устал, утомлен — от мучительного ожидания письма! Знаешь ли, во что превратилась жизнь моя с 18 октября?» — спросил он. «Нет, не знаю». — «В ожидание писем от нее и в отправление писем к ней: промежутки — это праздные, вялые, бесцветные дни. В голове и в сердце

творится беспокойный процесс расчета, когда она получит письмо, когда ответит, долго ли ему идти сюда? Сегодня меня обдало радостью, я счастлив, что получил письмо, счастлив, что отвечаю на него, послезавтра отправлю, а там опять апатия, зевота, пока, наконец, не настанет опять пора ждать и мучиться. Что ж из этого выйдет!» — с ужасом прибавил он. «А ничего, — равнодушно сказал я, — сначала она ответит тебе двумя, тремя ласковыми письмами, четвертое будет похолоднее, пятое (если будет) придет не скоро, а шестое… вовсе не придет. Ты станешь ее забывать, она уже забывает, потому что «там теперь Мертвецов» — она с ним»… «Так ты думаешь, она с ним… того»… «Да, думаю, что того… Ты же заразил меня сомнением. А не он, так другой, притом письма из малой Азии… помнишь арию из *Риголетто* — …donna mobile…[34]». Тут я пропел ему арию. Он задумчиво ходил по комнате, мне стало жалко его, и я опять повторил ему прежний вопрос: «Что тебе за дело до всего этого: ведь ты никаких на ее счет намерений не имеешь». — «Ни на чей счет, ты знаешь», — сказал он. «Ну, так из чего ж ты бьешься? Отвечай мне, любишь ты ее?» — «Нет, не могу, не смею любить. Мне — любить? Вдруг сказать ей *я люблю!* Что так хорошо звучит в устах молодости, то в моем голосе задребезжало бы дико. Нет, нет, я не люблю, прочь, прочь эта мысль! Это лукавый искушает меня. Исчезни, исчезни, окаянный! — начал он скороговоркой, бегая по комнате. — Чур меня, чур меня, Господи, Господи! Да воскреснет Бог и расточатся врази его!!! Я болен ею, пошли поскорей за лекарем: мне стало как-то тесно на свете жить: то кажется, что я стою в страшной темноте, на краю пропасти, кругом туман, то вдруг озарит меня свет и блеск ее глаз и лица — и я будто поднимусь до облаков»… «Да это сон, что ли?» — спросил я. «Между тем, — продолжал он, — я часто благословляю судьбу, что встретил ее: я стал лучше, кажется, по крайней мере, с тех пор как знаю ее, я не уличал себя ни в одном промахе против совести, даже ни в одном нечистом чувстве: мне все чудится, что ее кроткий, карий взгляд везде следит за мной, я чувствую над своей совестью и волей постоянный невидимый контроль. «Что бы она подумала, что бы она сказала о том или другом?» — поминутно спрашиваю я себя». — «Ну, брат, ты немного спятил, как я вижу», — заметил я, закуривая сигару. «Я как будто встретил ангела, — говорил он, — на грязной тропинке жизни… Что это, кажется ты куришь манильскую сигару?» — «Да, а что?» — «Дай-ка мне». Он неистово откусил кончик и, кажется, в рассеянности проглотил его, закурил и продолжал: «Да, встретил ангела, он остановил меня, приветливо взглянул на меня, взмахнул крыльями»… «И пропел *кукареку»,* перебил я. «Ужели ты

так шутишь и в свои торжественные или печальные минуты?» — спросил он в негодовании. «Да, всегда, всюду: шутка не стареет никогда, не изменяет, не надоедает, шутка в мучениях вызывает улыбку, шутка… Ну, что ж ангел?» — «Ангел сказал мне: вон твоя дорога, ты не туда идешь, ты зайдешь в болото, взял за руку, указал путь и исчез. Я иду робко по этой дороге, но мне скучно без него, зачем он меня оставил? Я бегу вслед ему, кричу *благодарю,* но он уходит в толпу. И ты не по той дороге идешь, кричу я ему: смотри, там ходят демоны»… «По-русски — лешие», — заметил я. «Они, — продолжал он, — приняли на себя человеческий образ, надели мундиры (некоторые сели на *коней),* они столкнули тебя в бездну, вспомни «Машеньку» (Ап. Майкова), мне жаль тебя, ангел! И так у тебя опалены два-три пера в крыльях, глаза сияют неангельским блеском…» Ангел умчался. <…> «Да ты никак дремлешь?» — вдруг спросил он. «Ты спишь?» — повторил он. «Что ты, как можно!» — очнувшись, сказал я. — Так ты влюблен, что называется — по уши!» — «Называй как хочешь это чувство». — «Просвира». — «Только с ядом», — прибавил он. «Ну, а она что чувствует к тебе?» — спросил я. «Дружбу какую-то, так, чувство вроде самого пресного теста, без всякой закваски, без брожения. Она с любопытством смотрит, как играют лучи ее блеска в тусклом зеркале моей души, как лучи солнца на заглохшем пруду, потом она добра, мягка душой, она тронута моей внимательностью, благодарна и этой благодарностью кротко и тепло сияет мне. Я, усталый, опустившийся, одряхлевший душой — счастлив, что могу погреться у этого приветливого огонька. Желать и ожидать большего я не вправе. Но я вправе однако ж заметить ей, что сердечные движения ее до того лишены живого, наружного выражения, что иногда похожи на забвение долга. С одной стороны — оно очень хорошо, в отношении *лишних,* например, а с другой — не совсем. Начну с пустяков: например, с встречи с тою барыней, которая сказала ей: «M-me! Vous avez dechire votre robe»[35]: она же не позаботилась сказать ей «merci» (как я за ней наблюдал и в мелочах!) и кончу десятидневным молчанием ее после отъезда, которым она почтила друзей, так радостно встретивших и так грустно проводивших ее». — «Леший приехал и, должно быть, мешал, к тетушке захотелось, если не застанет ее в Москве: какой добрый!» — «В чувстве ее к друзьям сомневаться нельзя: она всех их вспомнила и всех любит, но эта привязанность требует иногда выражения поживее, как доказательства, иначе можно подозревать, что нет ничего…» — «Ты *преполезный* друг, все ворчишь! — заметил я. «Послушай, вот мой совет, — сказал я, — не шутя — забыть ее» «Ты думаешь, что… это нужно?» — с

усилием выговорил он. «Сам посуди: намерений у тебя на ее счет нет никаких, ты влюблен, да это не причина, чтоб волноваться тебе бесплодно самому и заставлять ее думать Бог знает что о тебе. Ведь ничего из этого не выйдет, разве какая-нибудь отдаленная, ненадежная мысль встретиться опять, сблизиться уже не так живо, и сонно, чисто дружески подать друг другу руку и пройти как-нибудь остальной путь. Но ведь это все мечта: ты и сам не знаешь, на чем строишь ее. Между тем пишешь к ней, родные ее заметят и заключат что-нибудь серьезное — рассмотри, хорошо ли, благоразумно ли ты делаешь. А ты опытнее ее»… «Да она не 18 лет: то, что подставилось бы в ошибку, вину девочке, то, в ее положении не может возбудить никаких предосудительных подозрений на ее счет. Между тем, это — большое утешение для меня, может быть, и ей подчас не совсем скучно получить от меня весть… Вот с моей стороны единственная цель этой переписки. Ведь она в ее лета имеет и должна иметь известную степень воли, какой не может и не должна иметь 18-летняя девочка». — «А если она выйдет замуж. А между тем переписка будет замечена, что будущий жених ее скажет…» «Замуж, она!» — сказал он. «Что, видишь: тебе это не по вкусу?» — «Ах нет, дай Бог ей счастья… пусть выйдет, если найдет счастье»…

<…> «Ну, так пиши изредка». — «Не могу: или совсем не писать, или писать, как пишется теперь». — «Ну так совсем не писать, — решил я. — Это последнее письмо?» — «Постой, постой: не нам принадлежит право решать, а ей одной. Ты напиши ей обо всем этом и *как она решит, так пусть и будет.* Сам я добровольно не имею сил отказаться от этого, хотя, может быть, *для нее* оно и следовало бы». — «Хорошо, с этим условием я напишу к ней». — «Стало быть и портрета моего не нужно посылать к ней, надо подождать, *что она скажет*?» — «Да». — «А я завтра сниму его с себя»… «Зачем же?» — «Так, на всякий случай»… «Нет, ты, я вижу, измучаешься, а не забудешь ее». — «Право, *забуду,* только не вдруг». — «Но если она решит, что писать не опасно и можно, что родные или не узнают, или ничего особенного не подумают, что сама она от этой переписки тоже не переменит доброго мнения обо мне, что посторонние никакого сватовства из этого не выведут, а мы с ней будем смотреть на это как на источник невинного, даже чистого удовольствия, тогда… за что лишиться его, особенно если еще она не выйдет замуж?..» — «Ты — хоть брось! Так, дрянь! — сказал я. — Она холодна к тебе, покойна вообще и потому решит беспристрастно». — «А если она смотрит на эту переписку по моему, — заметил он, — как на источник большого утешения и невинного счастья и

захочет продолжать, тогда ведь дрянь-то ты будешь! У тебя, я вижу, больше моего сомнений и arrie pensee[36]».

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 1 ноября 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Вы обещали писать к Майковым в субботу, 22 октября, а написали ровно через неделю. Письмо получено в воскресенье вечером 30 октября. Первую мою записку получили Вы в пятницу 21-го и отвечали на нее через десять дней. «Все мешали писать»: поневоле спросишь *кто?* <…>

Наконец вот оно, вот письмо: сколько ума опять и сколько чувства… Хотел было сказать, да *друг мой* стоит возле меня и держит наготове сомнение. «Чувства! — говорит он, — разве ты не видишь, что она, получив отсюда большое письмо, вдруг спохватилась, что молчала целую неделю и разом написала и грустное, и веселое письмо, чтоб показать, что думала о нас целую неделю и что писала будто бы понемногу, а она все написала в один вечер. Смотри еще: делает вид, что будто не догадывается, кто присвоил портрет, и только по получении письма узнала, что ты был у Левицкого! А «друг-то детства», который уехал отсюда 22-го в субботу, разве в Воскресенье не сказал ей этого? Ведь он тоже, по ее поручению, был у Левицкого, и тот сказал, кому отдал портреты». — «Зачем же она это делает?» — спросил я в недоумении. «Как зачем? Чтоб не показать, что виделась с ним всю неделю, что он «мешал ей писать» — просто кошачий, архикошачий поступок. Да еще сама же говорит: «Вы могли подумать, что я не помнила о вас целую неделю», это значит — *знает кошка, чье мясо шла.* А о нем — ни слова: как будто его там и нет, все тетушка да тетушка! И теперь жди от нее ответа скоро, как не так. Она скажет «все тетушка», а как ты поверишь, что не дядюшка». — «Что тебе за дело? — спросил я с досадой. — Она делает, что *ей* вздумается». Он ушел от меня прочь и сел в угол, а я продолжал восхищаться Вашим письмом, кроме пословиц, к которым у Вас есть слабость, как я заметил здесь еще, и не к одним пословицам, а вообще к готовым изречениям. В пословицах, конечно, много сжато практической мудрости, но в употреблении их есть какая-то старческая наивность: «тут все, дескать, сказано, а нам лень, или мы не умеем сами решать». Оттого их так странно слышать в устах молодости, особенно где так много своего ума и красоты, как… у одной моей знакомой.

Вы упрекаете, зачем я говорю «не прямо», а прибегаю к околичностям: да мне все снится чей-то посторонний глаз, который заглядывает в мое письмо <…>. Да притом Вы вон

собираетесь умирать: как же после этого без оглядки писать письма, да еще посылать портрет? Ну, если Вы умрете — виноват — вознесетесь на небо, без завещания? Кому достанется все это? Не говорите, пожалуйста, при посторонних, что хотите умереть: когда у девицы является тоска, предчувствие смерти — друзья ее и влюбленные (в том числе и мой *друг)* бледнеют, а люди положительные тут же вяло замечают: «Ее надо замуж отдать, пора». А если случится тут доктор, тот сейчас приберет такой физиологический ключ к этой тоске, что и слушать не захотите. Я более Вас имею прав и повода на это последнее и неотъемлемое благо — смерть, да и то, простудившись жестоко третьего дня и почувствовавши сильный припадок лихорадки, вдруг перепугался возможности умереть — до получения обещанного письма от Вас. А как мило это письмо, как умно, как тепло! Я — не как *лучший мой друг* — восхищаюсь им без всяких сомнений и думаю: «Боже ее сохрани придумывать фразы и писать эти письма литературно хорошо. Пусть изливается этот язык ее ума и сердца просто»… <…> Знаю, Вы будете возражать против *ума:* скажете, что «ничего умного не сказано». Пожалуй, нет ничего нового, глубокого. Да разве умный человек всегда говорит непременно что-нибудь новое и неслыханное? Нет, он говорит обыкновенные вещи, а между тем и они пропитаны умом, и движения, и голос. Ум имеет свою обаятельную прелесть, как и красота, и действует одинаково с нею, с тою только разницею, что действует на внешние чувства, а тот непосредственно на душу, и следовательно действует прочнее. У женщины ум в чувстве: он поглощается последним, у мужчин напротив чувство должно, кажется, уступать уму. А у Вас сверх того и в самой красоте есть ум. Да, я смею думать, что без ума красоты не может быть, или она не красота. <…> «Вот у этой, говорят, прекрасное лицо, да в глазах выражается простота или даже глупость, так вот уж никуда и не годится, и не красота. Если иногда струя ума, переливающаяся в глазах, в линиях лица безобразного, придает ему до некоторой степени красоту, то насколько же блеск ума возвышает прекрасное лицо. От этого у Вас — cet air distingue[37]. У Вас (а я все про Вас: что это такое!) в письме, кроме остроумных, ловких заметок, реплик, самая дружба высказывается так просто, с такою грацией, слова те звучат так мягко, что не знаешь, что лучше у Вас, сердце или Ваш ум, тонкий, нежный, женский? Что если он примется обманывать? Беда моему *другу,* много испортится у него крови.

Ум перестает, однако ж, быть умом, когда впадает в педантство, т. е. переходит границу свою: это называется умничанье, так точно как и чувство — не чувство, когда

выскакивает из своей колеи или теряется в мелочах, переходит свою естественную черту, тогда оно делается нежничаньем, сентиментальностью, теряя натуральную прелесть, уклоняясь от истины. У Вас этого ничего нет и быть не может. Вы инстинктивно, а, может быть, и сознательно, обходите границу, Вы скорее склонны впасть в противоположность, в сухость — из боязни впасть в нежничанье, и оттого не бываете даже нежны; стыдитесь слез «comme une faiblesse, indigne de Vous»[38]. — Впрочем, что ж я говорю? Может быть, и бываете нежны когда-нибудь и с кем-нибудь. Со мной вам нет повода быть нежной, а я могу только судить по письмам. Вы сознались, что у Вас «раза два выступали слезы» — и то слава Богу, и то — огромный успех в деле дружбы. Может быть, дождусь, что и польются когда-нибудь! О дружба, о святая просвира, благословляю тебя!

Евг. П. согласилась в суб. с М-me Языковой женить меня. Когда я был в воскресенье у Владимира (Майкова. — *Сост.*), Евг. П. подсела ко мне и очень серьезно и тихо начала говорить, что зачем-де я таскаюсь по белу свету, как отчужденный от людей, будто Каин какой, что я ни Богу свеча, ни черту кочерга, что наступают лета покоя, когда человеку так нужна дружба и т. п., что вот приехала какая-то милая, добрая девушка 19 лет, с 300 душ и хорошеньким носом, что им хочется, чтоб я женился… «Зачем это Вы мне говорите?» — спросил я. «Для Вашего счастья: мы видим, как Вам скучно на свете — а это племянница Языковой… женитесь, пожалуйста»… упрашивала она тоненьким, нежным голоском. «Я бы с большим удовольствием сделал это для Вас, — сказал я ей, — но Вы знаете, что я никогда не думал о женитьбе, а теперь… когда передо мной недавно был идеал женщины, когда этот идол владеет мной так сильно, я в слепоте… и никогда не женюсь»… «Ну, так женитесь на идоле, — живо перебила она, — сделайте такую милость, — еще нежнее и тоньше голоском прибавила она. — Постарайтесь как-нибудь»… «Очень хорошо, я постараюсь… да нет, никак нельзя», — сказал я. «Э! — с досадой сказала она, отходя, — и впрямь ни Богу свеча, ни черту кочерга!.. Каин!» <…>

Портрет Ваш, наконец, снят, вместо утраченного, вновь и Николай Ап., одержимый желанием писать Ваш портрет, возьмет другой экземпляр себе, а первый поступит в бюро моего «лучшего друга». На днях побываю у другого, а не у Левицкого и постараюсь прислать обещанное: то-то будете смеяться «с кузиной в мужском роде». <…> У Вас есть слабость — какая-то универсальная «дружба» ко всем: мой лучший друг — против этого сильно, особенно против раздачи «даров фортуны». Он опять просит меня написать Вам маленький отрывок из романа.

Если успею, пришлю. Сегодня второй день, как получил Ваше письмо, и если буду слушать и записывать его бред, то пройдет дня два еще, прежде нежели пошлю письмо. Утро у меня несвободно, а то Вы получали бы письма гораздо скорее. <…>

Как лучший мой друг страдает сомнениями, так я страдаю одною убийственною уверенностью — больше не увидеться с Вами в жизни никогда. Вы подтвердили это в Вашем письме, дав мне «последний поцелуй»! Я и сам уверен в этом, а между тем эта фраза почему-то уязвила меня. Прощайте же, «и если навсегда, то прощайте навсегда», говоря словами Байрона (and if for ever for thee well), только с большей тоскою, не теперь однако ж, а когда будете *выходить замуж* или *перед смертью моей* или *Вашей* — вот причины прощаться. А теперь прощайте — *пока,* до следующего письма, мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая, обворожительная… Лиза!!! вдруг сорвалось с языка. Я с ужасом оглядываюсь, нет ли кого кругом, и почтительно прибавляю: прощайте, Елизавета Васильевна, Бог да благословит Вас счастием, какого Вы заслуживаете. Я с умилением сердца благодарю Вас за Вашу дружбу, которая греет меня старика.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 14 ноября 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Вы ленивы, Вы рассеянны, Вы живете только под влиянием настоящего момента, не связывая его ни с прошедшим, ни с будущим, Вы — притворщица, Вы — только самолюбивы, и в привязанностях Ваших не лежит серьезного основания, т. е. теплого и сердечного, Вы… Вы… Вы… Ах, сколько бы исписал страниц, если б вздумал исчислять Ваши недостатки, сказал бы я, но скажу, достоинства, потому что они помогают Вам жить так покойно и гордо, так лениво, не лишают Вас сна и аппетита, сохраняют свежесть лица, блеск глаз и вечную власть над сердцами людей, которые имели несчастие с Вами встретиться.

Мы, напротив, мы, т. е. Ваши друзья — не выпускаем Вас из вида, следим за Вами мысленно всюду, ездим по Москве, живем в деревне, ничто не затмит Вашего образа в нашей памяти, Вашего голоса в ушах, счастливы каждым ласковым словом и несчастны от Вашего забвения. Мы с болезненным нетерпением ждем строчки от Вас и держим наготове перо, чтобы высказать, и не сможем высказать во всей полноте и силе о том, как свежо и живо впечатление, оставленное Вами, как ничто не выживет из нас Вашего краткого появления, как отъезд Ваш только раздражает и усиливает желание видеть Вас, как Ваше место и воспоминание до сих пор не могут замениться никакими настоящими и будущими явлениями, наконец, мы не признаем, не хотим

признавать счастьем ничего, что не — Вы! <…>

Скажите, достанет ли у Вас духу оспаривать мой девиз: que la plus sure des choses — est le doute[39]? Сами посудите: от 24-го октября Вы получили мое большое письмо и обещали отвечать на него из деревни. Потом вслед за тем, конечно, прислали к Вам другое из Москвы, из дома г-жи Колошиной (куда я адресовал, не знавши, что Вы едете в деревню), наконец, в ответ на Ваш вопрос, самое милое из писем, посланное из Москвы, я через три дня, несмотря на каторжный недосуг, послал, уже по деревенскому адресу, четвертое письмо (с приложением окончания главы Pour и contre) — и вот с тех пор прошли тысячи столетий, лет, меньше, 15 дней. Но 15 дней!

Разве это не тысяча лет, разве это не все равно? И Вам не пришло на ум — я уже не говорю — на сердце, взять на другой, на третий, наконец, на пятый день перо и сказать, я жива, здорова, помню Вас… Или Ваша правдивость мешает? Вы не любите лгать, я знаю, ну так напишите: «Я забыла о Вас, мне некогда, не до Вас, здесь есть также друзья, но лучше, милее, любезнее, свежее, *приятнее* и живее — и притом они налицо». А это для Вас главное. Если все не то, скажите: «Я нездорова (храни Вас Бог!), влюблена… (гм! гм!)… выхожу замуж (о ужас!) и потому мне не до друзей» <…>…. Почему же ужас? Потому что тогда Вас отнимут от нас навсегда, потому что всякая дружба, самая святая, самая вынутая просвира — все это утонет в всепоглощающих правах мужа, потому что… потому что — ах, мало ли почему! Но Вы молчите упорно, убийственно <…>.

И что это за потребность говорить с Вами, которою я одержим? Как ее обуздать? Вы принимаете деятельные меры к тому, т. е. упорно молчите, и все не помогает: вот я говорю, и говорю с такой охотой, которая похожа на страсть. Я нигде и никогда так не говорил и не говорю. Иногда болтаю, даже спорю, ум ратоборствует, но только ум. Сердце не вовлекает меня в эти разговоры, спорю холодно, отстаю охотно. Отними у меня это право говорить с Вами — и мне многого будет недоставать; пропадет самая живая нить, парализует самый живой нерв, который так связывает меня с людьми, с обществом. Мудрено ли, что при предположении о Вашем замужестве я не могу защититься от ужаса, что вижу врага в будущем Вашем муже? Ведь он ни Вам, ни мне писать не позволит, этот изверг! <…>

Я вчера видел Вас во сне: я будто ждал Вас у Майковых. Вы не появлялись долго (почти так же долго, как однажды к обеду к ним: где Вы тогда были?.. не знаю, но угадываю), нетерпение мое возросло до болезни, наконец, Вы явились, но где была Ваша красота? Вы были обезображены — и я все-таки был неимоверно

счастлив, увидя Вас, как случилось бы и во сне. Но сам я был — представьте — без… всякого костюма, прикрывался какой-то простыней… Говорят — это значит несчастье: пусть, лишь бы не для Вас. <…>

На днях один воротившийся из отпуска мой сослуживец вдруг сказал мне в Департаменте, что мне кланяется «M-lle Толстая». Можете себе представить эффект этих слов на меня. Оказалось, что этот поклон прислала (если он не лжет) Ваша миленькая кузина, с которой он ехал по железной дороге. Он, впрочем, знает и Вас, видал в Москве. Фамилия его — Левченко. Ведь он мог бы заехать в деревню, кажется, он знаком с тетушкой. «Счастливец! — думал я, — зачем не я на его месте? Как бы это возможно взять отпуск на неделю, съездить и воротиться»… «А зачем? — вдруг является вопрос, — кому тебя нужно?» и т. д. Такие вопросы значительно охлаждают всякие порывы. <…>

Да, скажите, Вы не сердитесь ли на меня, что много пустяков пишу? Или не сердятся ли на Вас, что Вы пишете? Скажите откровенно — я не буду, пожалуй, хотя… совсем не — *хотя*, а *нехотя.* Наконец — ответите ли хоть на это письмо? Скажете ли о причине молчания? Заняты ли кем-нибудь так, что недосуг, или нет ли речи о замужестве? Надеюсь, что Вы первому мне сообщите эту новость. Да что это я пристаю к Вам: велите мне замолчать. Да, *я приказываю,* говорите Вы: слушаю и молчу. Еще одно: если в письмах моих повеет хандрой, если говорится о намерении забыть Вас и Вашу дружбу — не верьте, а верьте, что альфа и омега моей хандры — и радости тоже — не скажу, кто и что. Прощайте. <…>

Прощайте. Ах, увижу ли Вас когда-нибудь, где-нибудь! Прощайте или до свидания. Если с Вами никаких перемен нет и Вы не пишете только по гнусной лености и убийственному равнодушию к старым друзьям — то да простит Бог: если б у Вас был уже заготовлен ответ на первую часть моей главы романа, а когда пришла вторая, Вы, может быть, бросили ответ на первую — не делайте этого, en grace, а пришлите все, если это справедливо. А если просто — нельзя писать, не велят, или не тянет к этому — и не пишите.

Да будет Вам стыдно — отрекаюсь от дружбы к Вам навсегда, если эти письма будет читать когда-нибудь и где-нибудь другой или другая, кроме Вас.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 1 декабря 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Милостивая государыня Елизавета Васильевна, Упорное молчание, конечно, есть верное средство к прекращению

бесполезной переписки с *бесполезными* друзьями, но Вы, вероятно, предполагали, что после Вашего дружеского расположения и двух, трех ласковых писем к Вашим старым знакомым молчание это породит тьму вопросов, внушаемых участием: здорова ли она? Не уехала ли оттуда? Ленится? Рассердилась? и т. п. <…> Писать Вы, по-видимому, не расположены, даже в ответ на письмо Е. П., посланное к Вам недели три назад. Я, однако ж, советовал подождать, полагая, что молчание Ваше происходит от какой-нибудь важной причины и что как скоро эта причина минует, нездоровье, например, то Вы и напишете. Неважные я все перебрал и не знаю, на какой остановиться: если б Вы *уехали,* то, конечно, дали бы знать, чтоб Вам не писали туда: этого требует самый обыкновенный и принятый порядок. *Забыли,* т. е. охладели к приятелям: это не помешало бы написать *холодную* страничку, для приличия, хоть затем, чтоб прикрыть забвение. *Лень:* не верю: можно лениться день, два, десять, но лениться пять недель, не отвечать на все теплые дружеские призывы — это лень, простирающаяся до степени варварства, преступления. Вы, верно, не захотели бы возбудить в приятелях весьма основательных и серьезных беспокойств насчет аккуратного получения их писем. *Рассердились* или *оскорбились:* да и тогда лучше же — отвечать с достоинством, чем с достоинством молчать, что показывает не совсем доброе сердце. Но кем и чем? Не больным ли *моим приятелем,* который доверчиво и болтливо поверял свою душу, все свои сомнения и противоречия, в которые беспрестанно впадал (признак страстей: не мало я издевался над ним!)? Или, может быть, за *друга детства?* Е. П. сказала просто «напишите ей, как он нашумел и чего наговорил у Левицкого». «Зачем?» — спросил он. «Затем, чтобы она знала, какой он». И только, а мой приятель развел это собственными рассуждениями, которых никому и в голову не приходило. Наконец, если б Вы нашли почему-нибудь неудобным для Вас переписываться, то и об этом бы дали, конечно, знать, чтоб не писали больше к Вам. Мне кажется, что *приятель* мой чуть ли не напугал Вас созданным его беспорядочным воображением фантомом, которого испугался и сам. А Вы так и приняли это за чистую монету и лишили его большого наслаждения. Да притом он только полагался на Ваше мнение, а Вы и замолчали. Не снимете ли этот обет молчания: Вам больше grace, т. е. грация к лицу, нежели гордость, гнусный порок. Но что бы ни было, это не изменяет дела, факт остается тот же: Вы молчите.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 23 декабря 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Наконец Вы, богиня Елизавета Васильевна, решились нарушить Ваше молчание и порадовали одного из смертных ласковым письмом. Благодарю Вас, как за него, так и за дружеское и лестное для меня Ваше желание иметь мой портрет <…>. Я бы отвечал по пунктам на Ваше милое письмо, но оно дома, а я в гостях у Старика и застал Старушку за письмом к Вам и выпросил у нее полстранички, она было обещала, а потом исписала весь листок и дала мне вот эту четвертушку. Я очень счастлив был уже и тем, когда увидел Ваше письмо к Майковым, следовательно узнал, что Вы здоровы, с каким же удовольствием получил сам Ваше письмо — можете представить. Вы спрашиваете меня о здоровье, о месте и что-то еще: кашель этот принадлежит моей комплекции и, вероятно, не пройдет никогда, но есть еще кое-что хуже кашля — это приливы крови к голове, особенно по ночам, когда так явственно подкрадывается ко мне апоплексический удар: все, что остается мне получить в жизни. Место — старшего цензора, т. е. русской цензуры — с тремя тысячами руб. жалования и с 10 000 хлопот. Но это еще должно состояться в январе, а если вакансии не откроются, то, может быть, и не состоится, тогда у меня есть план удалиться года на два на Волгу, к сестрам, и попробовать, могу ли я еще исполнить мои прежние литературные задачи, не все ли отнял холод жизни и бестолковое шатание по свету — и если удастся, я умру покойно, исполнив свое дело, если нет — замучаюсь в скучных, жалких трудах.

До свидания, гордая, прекрасная богиня, дай Бог Вам счастья в этом и в Новом Году, и всю жизнь. Смею молить об одном, не забыть жалкого, скучающего смертного, больного, холодного, но все еще немного боготворящего Вас

И. Гончарова.

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 28 декабря 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Вы теперь, вероятно, уже получили письмо от Старушки: я пришел к ней в то время, когда она начала его, и приписал в нем сам. Она не показала мне, что пишет, сказала только, что есть и обо мне: я довольно долго ничего хорошего не делал, и оттого интересного ничего она обо мне Вам и не сообщит. Несмотря на мою приписку, я не лишаюсь права писать обстоятельно в ответ на Ваше письмо. Какая разница между им и вторым, предыдущим Вашим письмом! Правда, между ними протекла целая вечность, или два месяца, что в иных случаях совершенно все равно. То письмо — дружеское, искреннее, носящее следы недавнего свидания, чуть не слез, по крайней мере говорящее о них, — это,

напротив, пропитано ядом или ласково уязвляющей, сладкой насмешки, pillule dorue[40], или холодной иронии, lettre mordante[41], с целию казаться дружеским. Вы колете мне глаза, — писано там, — уменьем держать слово — тем лучше для Вас (то есть это значит, а относительно Вас я об обещаниях и заботиться не думаю и не хочу). Далее. Болезнь и несносные посетители мешали писать, да и не о чем: деревенская жизнь монотонна, стало быть, я щадила Вас, *лишая себя удовольствия* беседовать с Вами (перевод верен). Еще: Вы снисходительны, и этому я обязана *высочайшим удовольствием* слушать Вас! — Предостережения и советы Ваши излишни. — Можно *гордиться* дружбою такого человека… — и не писать, забыли Вы прибавить. Почему ж нельзя? Можно даже и не гордиться, и не писать.

<…> Какое право я имел обнаруживать перед Вами весь беспорядок души моего лучшего друга, передавать Вам эти волнения, вопросы, сомнения, пугать Вас фантомами, предположениями, уцепиться за какую-нибудь сторону Ваших наклонностей, привычек, характера и анализировать их, когда Вы не признавали и не разделяли этих волнений и хаоса? Зачем, к чему? Вам было это, конечно, дико, надоело, Вы и замолчали, замкнувшись в Вашем непотрясаемом спокойствии. Одно немного может оправдать меня, это то, что все это делалось с целью не прерывать разговора с Вами, не терять Вас никогда и нигде из вида, не допускать лечь ни забвению, ни времени, ни расстоянию в этой дружеской связи, вызывать Вас на постоянную диалектику и, любуясь на портрете и в памяти Вашей наружной красотой, любоваться легкой грацией и остротою Вашего ума и мягкостью, ровным биением Вашего сердца — вот цели. Но у Вас подобных целей не было, и Вы со второго письма оборвали нить и обратили ее в едва осязаемый, невидимый волосок. <…> Отчего Вы не сказали, сколько именно писем получено Вами: оттого ли, что казалось Вам неловко, показав счетом 5 или 6 писем, отвечать на них полутора страничками, или оттого, что, может быть, Вы не получили которого-нибудь, писанного в Москву, например? Вы очень искусно намекнули на каждое из писем, кроме московского: получено ли и оно?

Иван Александрович Гончаров — *Елизавете Васильевне Толстой. 31 декабря 1855. Из Санкт-Петербурга:*

Вот уже несколько дней, как у меня лежит готовое и не посланное письмо к Вам: отчего не посланное? И сам не знаю: частию оттого, что оно чересчур откровенно написано, частию гордость, возмущенная Вашею ленью и небрежностью, удерживали меня и, может быть, удержали бы совсем, если б

память сердца, благодарного за несколько проведенных Вами здесь недель, за несколько приятных часов и, наконец, счастливых (не для Вас) минут, не заговорила сильнее всякой гордости и самолюбия: видите, как я прост и откровенен! И вот я посылаю, но только половину письма, остальную оставлю у себя и, вероятно, уничтожу, выбрав, что нужно, сюда. Письмо слишком длинно: из него Вы никакого практического смысла, ни истины не извлечете, разве только можете сделать один безошибочный логический вывод, что длинное письмо, написанное при моем недосуге — есть… длинное письмо. <…>

Впрочем оно было очень здравое и приличное письмо, да оно и не может быть иначе: «лучшего моего друга» уже больше нет, он не существует, он пропал, испарился, рассыпался прахом. Остаюсь один я, с своей апатией, или хандрой, с болью в печени, без «дара слова», следовательно, пугать и тревожить Вас бредом некому. Он, улетучиваясь, говорил мне при последнем издыхании Вашими словами: «Tout va pour le mieux[42]: хорошо, что она уехала, хорошо, что и не писала так долго: tout, tout est pour le mieux». Он даже избегал смотреть на портреты, не читал, не смотрел ничего на сцене (особенно *Лючию),* чтоб не расшевеливать воспоминаний, и так мирно угас, как он говорит, для *вдохновенья, для слез, для жизни* и т. д. (У него был дар слова.) Но Бог с ним: он надоел мне, а Вам, я думаю, вдвое.

«Необыкновенная история» с Иваном Сергеевичем Тургеневым

Анатолий Федорович Кони:

Некоторые предполагали, что разлад начался после того, как в Базарове Гончаров усмотрел предвосхищение созревавшего у него образа Марка Волохова, с которым он познакомил Тургенева в конце пятидесятых годов, когда они еще встречались дружески за границей. С этого будто бы времени начались жалобы Гончарова на то, что Тургенев — непосредственно и через знакомых — выпытывает у него сюжеты задуманных произведений и пользуется ими для себя и для своих иностранных литературных друзей. Такая, более чем странная, причина разлада, во всяком случае, должна была возникнуть гораздо ранее появления «Отцов и детей», так как еще в 1860 году в «Искре» (№ 19, от 20 мая) напечатано было стихотворение *Обличительного поэта* (Д. Минаева) «Парнасский приговор», в котором русский писатель, «вялый и ленивый, неподвижный, как Обломов, встав безмолвно и угрюмо, окруженный тучей гномов», приносит богам жалобу на собрата и говорит: «Он, как я, писатель старый, издал он роман недавно, где сюжет и план рассказа у меня украл бесславно… У меня герой в чахотке; у него — портрет того же; у меня Елена имя; у него — Елена тоже. У него все лица так же, как в моем романе, ходят, пьют, болтают, спят и любят…» Парнасский суд решает обречь виновного играть немую роль купца в «Ревизоре» (зимою 1859–1860 года в спектаклях, устроенных Литературным фондом в Пассаже, Тургенев действительно появился в группе купцов, которым городничий — Писемский — говорит: «Жаловаться, аршинники, самоварники?!»), а жалобщика обрекает поехать путешествовать вокруг света для написания в дороге нового творения. Отсюда видно, что о жалобах Гончарова на Тургенева было известно уже в начале 1860 года. Быть может, это ревнивое отношение к произведениям Тургенева явилось у Гончарова и еще раньше, так как в одном из писем к Никитенко он намекает, что бабушка Татьяна Марковна в «Обрыве» была задумана гораздо раньше, чем тетушка Лизы, Марфа Тимофеевна, в «Дворянском гнезде». В письме к Тургеневу от 28 марта 1859 года он писал: «Сцене бабушки и внучки вы дружески и великодушно пожертвовали довольно слабой сценой вашей повести». Таким образом, по-видимому, ревнивый разлад с Тургеневым начался давно, и притом без всякого основания, так как однородные явления

жизни, воспринимаемые самостоятельными художниками, могли создавать в их душе сходные в существе, различные во внешних проявлениях образы. А ввиду глубины их таланта и творческой силы ни один из них не нуждался в каких-либо заимствованиях.

Василий Дмитриевич Григорович:

Раз — кажется, у Майковых — рассказывал он содержание нового предполагаемого романа, в котором героиня должна была удалиться в монастырь; много лет спустя вышел роман Тургенева «Дворянское гнездо»; главное женское лицо в нем также удалялось в монастырь. Гончаров поднял целую бурю и прямо обвинил Тургенева в плагиате, в присвоении чужой мысли, предполагая, вероятно, что мысль эта, драгоценная по своей новизне, могла явиться только ему, а у Тургенева недостало бы настолько таланта и воображения, чтобы дойти до нее. Дело приняло такой оборот, что пришлось назначить третейский суд, составленный из Никитенка, Анненкова и третьего лица, — не помню кого. Ничего из этого, конечно, не вышло, кроме смеху; но с тех пор Гончаров перестал не только видеться, но и кланяться с Тургеневым…

Павел Васильевич Анненков (1812 или 1813 – 1887), *литературный критик и мемуарист:*

По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того И. А. Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении «Дворянского гнезда» Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность, и я «успокоился», — прибавляет И. А. Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением «Накануне» произошло то же самое. Прочитав страниц тридцать или сорок из романа, как говорится в письме Ивана Александровича к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору: «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста», — говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее:

«Как в человеке ценю в вас одну благородную черту — это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других и, между прочим, недавно

выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе». Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, и на этот раз Тургенев потребовал третейского суда. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии: чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разрабатывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи — позвольте улыбнуться, и только». Эксперты, после выбора их, собрались наконец 29 марта 1860 года в квартире И. А. Гончарова, — это были: С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков — люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

1860. Март 29. *Вторник.* Лет пять или шесть тому назад Гончаров прочитал Тургеневу план своего романа («Художник»). Когда последний напечатал свое «Дворянское гнездо», то Гончаров заметил в некоторых местах сходство с тем, что было у него в программе его романа; в нем родилось подозрение, что Тургенев заимствовал у него эти места, о чем он и объявил автору «Дворянского гнезда». На это Тургенев отвечал ему письмом, что он, конечно, не думал заимствовать у него что-нибудь умышленно; но как некоторые подробности сделали на него глубокое впечатление, то не мудрено, что они могли повториться бессознательно в его повести. Это добродушное признание

сделалось поводом большой истории. В подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом характере Гончарова закрепилась мысль, что Тургенев с намерением заимствовал у него чуть не всё или по крайней мере главное, что он обокрал его. Об этом он с горечью говорил некоторым литераторам, также мне. Я старался ему доказать, что если Тургенев и заимствовал у него что-нибудь, то его это не должно столько огорчать, — таланты их так различны, что никому в голову не придет называть одного из них подражателем другого, и когда роман Гончарова выйдет в свет, то, конечно, его не упрекнут в этом. В нынешнем году вышла повесть Тургенева «Накануне». Взглянув на нее предубежденными уже очами, Гончаров нашел и в ней сходство со своей программой и решительно взбесился. Он написал Тургеневу ироническое, странное письмо, которое этот оставил без внимания. Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, он грубо и злобно сказал ему: «Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги» (Тургенев получил за свою повесть от «Русского вестника» четыре тысячи рублей). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае угрожал ему дуэлью. Впрочем, это не была какая-нибудь фатская угроза, а последнее слово умного, мягкого, но жестоко оскорбленного человека. По соглашению обоюдному избраны были посредниками и свидетелями при предстоящем объяснении: Анненков, Дружинин, Дудышкин и я. Сегодня в час пополудни и происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был видимо взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между ним и господином Гончаровым отныне прекращены, и удалился. Самое важное, чего мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки,

впрочем, по его собственному признанию, неделикатной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus belli[43] был отстранен. Вообще надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высокообразованного общества…

Петр Дмитриевич Боборыкин:

В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор «Обрыва» заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова, так как его собственный нигилист был им задуман давно, раньше появления «Отцов и детей». И в начале семидесятых годов эта идея особенно сильно бродила в его душе. Ближайшие его знакомые в разное время передавали мне подробности о взрывах этого живучего подозрения, которое питалось, вероятно, всем складом жизни Гончарова, жизни старого холостяка, привыкшего перебирать в себе на всевозможные лады малейшую подробность в своих человеческих и писательских испытаниях и впечатлениях. Поэтому собеседник, знавший про такой болезненный пункт его души, должен был всегда держаться настороже и лучше совсем не упоминать о некоторых именах и книгах. Я слышал от тех же лиц, что в половине семидесятых годов писательская подозрительность все в том же направлении дошла до того, что Гончаров видел во многом выходившем тогда из-под пера парижских натуралистов, приятелей Тургенева, подкопы под него; находил у них даже свои сюжеты и замыслы лиц.

Иван Александрович Гончаров:

Если б я не пересказал своего «Обрыва» целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете — ни «Дворянского гнезда», «Накануне», «Отцов и детей» и «Дыма» в нашей литературе, ни «Дачи на Рейне» в немецкой, ни «Madame Bovary» и «Education sentimentale» во французской, а может быть, и многих других произведений, которых я не читал и не знаю.

Анатолий Федорович Кони:

Так было и с Гончаровым, который вообще отличался

мнительностью. Это состояние его, как видно из писем к Никитенко, дошло до своего апогея в 1868 году, когда, под влиянием встреч за границей с какими-то русскими семействами, которые, догадываясь о его больном месте, бередили своими намеками его душевную рану и «для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар», он даже хотел прекратить печатание «Обрыва», содержание которого будто бы уже передано Ауэрбаху и будет использовано последним в его новом романе. Под влиянием этого состояния он писал в 1868 году Стасюлевичу: «Вы знаете, чего я хотел в своем сочинении, какие честные мысли, добрые намерения руководили мной и как много теплой любви к людям и к своей стране разлито в этом моем фантастическом уголке России, в его людях и т. д.

И вдруг — не только безучастие, а какой-то злой смех, глупая вражда вместо ласки и участия еще до появления труда приветствуют меня. Хочется мне поскорей кончить и отдать вам, чтобы поскорее покраснели хоть немного те, которые, ничего во мне не понимая и не допуская никакой исключительности в натуре, ничего не нашли другого, кроме злого и грубого смеха, да еще предали меня заживо в чужие руки на глумление и на съедение». В другом письме он пишет: «Мне хочется сказать в Райском все, что я говорил вам о себе лично. Вы знаете, какой я дикий, какой сумасшедший… — а я больной, загнанный, затравленный, не понятый никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами, всего более ими, кому я посвятил так много жизни и пера… Жду утешения только от своего труда: если кончу его — этим и успокоюсь и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастью, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни *дворянского,* ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь…» Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1882 года в Дуббельне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью «Обломова», я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. «Такой совет мне мог бы дать, — сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров, — лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!» Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг. После смерти Тургенева эта болезненная мнительность прошла. Гончаров перестал иносказательно говорить о Тургеневе и в отзывах стал отдавать ему справедливость. Так, уже через год после кончины последнего он писал почетному академику К. Р.: «Тургенев воспел и описал в «Записках охотника» русскую природу и деревенский быт, как никто», а в 1887 году, говоря о «безбрежном, неисчерпаемом

океане поэзии», писал тому же лицу, что «в этот океан надо чутко всматриваться, и вслушиваться с замирающим сердцем, и заключать точные приметы поэзии в стих или прозу — это все равно: стоит вспомнить тургеневские «Стихотворения в прозе»».

Михаил Викторович Кирмалов:

Было время, когда после ссоры с Тургеневым Иван Александрович ожидал от него вызова на дуэль. «Ну что ж, надо будет принять вызов», — говорил он отцу.

Одоление «Обломова»

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:*

В 1848 году, и даже раньше, с 1847-го года у меня родился план «Обломова». Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу, или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть. Но в 1848 году, в «Иллюстрированном альманахе» при «Современнике», я уже поместил отрывок «Сон Обломова» и тогда же, по дурному своему обыкновению, всякому встречному и поперечному рассказывал, что замышляю, что пишу, и читал сплошь и рядом, кто ко мне придет, то, что уже написано, дополняя тем, что следует далее. Это делалось оттого, что просто не вмещалось во мне, не удерживалось богатство содержания, а еще более оттого, что я был крайне недоверчив к себе. «Не вздор ли я пишу? годится ли это? Не дичь ли?» — беспрестанно я мучал себя вопросами. <…> В Петербурге я и служил, и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы обоих романов до 1852 года. В этом году, в октябре, я ушел на фрегате «Паллада» вокруг света. На море, кроме обязанностей секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками, вышедшими потом в двух томах под названием «Фрегат Паллада». <…>

В 1856 году мне предложено было место цензора — и я должен был его принять. Я издавал тогда свои путевые записки, и это отвлекло меня от главных моих литературных трудов <…>.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма брату Н. А. Гончарову. Петербург, 15 (27) мая 1857 года:*

Я подал просьбу об отпуске за границу и, вероятно, получу разрешение. Боль в печени и геморрой от сидячей жизни все более и более усиливаются, и если не принять мер заблаговременно, то впоследствии, когда запустишь, и воды не помогут. Так говорит доктор и указывает мне мариенбадские минеральные источники как самые действительные от моей болезни.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма издателю журнала «Русский вестник» Н. М. Каткову. Петербург, 21 апреля (3 мая) 1857 года:*

Если меня отпустят, то я п<редполага>ю ехать в конце мая <или в> начале июня. Не одно леченье <имею> я в виду: на свободе я <по>пробую, не приведу ли в порядок <моего Об>ломова, то есть все, что написано. <О> продолжении я и думать пока <не> смею (частию потому, что не умею <п>родолжать, если начало не выработано окончательно, частию от старческой немощи), но так, однако, чтоб не запереть себе выхода во вторую часть. Скажите, будет ли это пригодно для Вестника, если *бы я* обещал роман туда (заметьте, пожалуйста, это *бы: я* обещать не люблю, когда дело мною не кончено, то есть не люблю запродавать шкуры на живом медведе, да и Бог знает, какие могут случиться обстоятельства), то есть удовольствовались ли бы Вы, если б я приготовил первую часть без надежды на вторую? Однажды Вы мне дали знать, что Вы удовольствовались бы и этим, но только чтобы все написанное мною было закруглено как вещь конченная. А мне бы этого не хотелось: я не отчаиваюсь черкнуть когда-нибудь и еще, хотя чувствую, что эта надежда очень неверна, но я столько раз обманывался в хорошем, что считаю себя немного вправе обмануться и в дурном. Поэтому мне хотелось бы знать, будет ли для Вас одно и то же — поместить совершенно конченную вещь или то же самое, только в <виде первой> части, с воз<можностию когда>нибудь продолже<ния>?

Иван Александрович Гончаров. *Из письма брату Н. А. Гончарову. Петербург, 25 мая (6 июня) 1857 года:*

Я уже получил позволение ехать в отпуск и отправляюсь 7 июня через Варшаву и Бреславль в Дрезден, а оттуда в Мариенбад. После курса вод мне хочется проехать в Нюрнберг, Мюнхен, Штутгарт, в Швейцарию, а там из Базеля до Страсбурга 5 часов езды по железной дороге, из Страсбурга до Парижа — 10. Впрочем, это мое желание, а там, по обстоятельствам, план этот может и измениться.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. М. Каткову. Петербург,* 5 *(17) июня 1857 года:*

Я и не надеюсь теперь написать что-нибудь, потому что болезнь печени и геморрой так усилились, ч<то едва> ли позволят мне <сесть за работу>. Я полагаю, что не <в состоянии буду>, как намеревался б<ыло, составить> заметок. Беру, однако же, на всякий случай ужо написанные главы

Обл<омова> с собою, чтобы, если можно, прив<ести их в поря>док и напечатать в Вестнике <или> в другом журнале, как *по<следнее> сказанье* и потом замолчать.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. И. Льховскому. Мариенбад, 5(17) июля 1857 года:*

А я вот все в Мариенбаде: сначала я решил, что не проживу здесь и трех дней, собрался уже ехать — и остался, и проживу, вероятно, еще недели четыре, а может быть и долее… <…> Отчего эта перемена — скажу при свидании или в одном из писем, откуда-нибудь, хоть из Парижа. Теперь скажу только, что здесь действительно нельзя прожить или надо сюда ехать с семейством, да не с одним, а с двумя, тремя, даже больше. Вот, например, заселить бы весь Мариенбад приятелями: вон на горе, подле леса с одной стороны и сада с другой, — поместить Никол<ая> Апол<лоновича> и Евг<ению> П<етровну>, пониже Старика с Старушкой, там Юниньку поближе к магазину, да всех… и тогда еще… да нет, и тогда невозможно выжить более недели в этой красивой яме, между красивыми горами, покрытыми красивым лесом. В полчаса исходишь все местечко: я обхожу его три раза в день и потом не знаю куда деться. Даже люди не такого скучного свойства, как я, и те, слышу, рассуждают вслух: Что это за скука! Мы в деревне живем, но там есть общество, какое-нибудь занятие, а здесь… Между тем не велят ни скучать, ни печалиться, ни волноваться, ни вспоминать ничего неприятного и проч. и проч. для того, чтоб воды произвели свое действие. Потом твердят, чтоб вести жизнь не сидячую, ни во время, ни после вод. Во время вод — пожалуй, а как же после-то не вести сидячей жизни — вот этого я не понимаю. Поэтому я сильно сомневаюсь, чтоб они помогли мне, однако ж каждое утро пью по три кружки, но они действуют слабо, так что доктор дал мне сегодня в помощь к водам ревеню и послезавтра будет сажать меня в мариенбадскую воду, а после в грязь. Не знаю, что будет. — Я вооружился терпением, развесил свои платья, разложил вещи и равнодушно поглядываю в окно, как будто у меня перед глазами не Богемские леса и холмы, а дровяной двор в Моховой. Луиза, моя горничная, ставит мне букеты через день, за которые в Петербурге надо дать рублей 7, а здесь они стоят 10 крейцеров, то есть немного поболее гривенника. Но вот мое горе: нет сносных сигар, вся Австрия, благодаря монополии, курит какой-то навоз. В утешение себе я купил табакерку и табаку, но тс… об этом не знает никто, даже Луиза, которая убирает мою комнату. Эта Луиза была бы недурна, но ручищи, как у мужика, и притом от работы, от беготни она так пропитана потом, что,

когда мне понадобилось пришить к жилету пуговицу и она подошла близко… я минуты три терпел ужасную пытку.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И И Льховскому. Мариенбад,* 5 *(17) июля 1857 года:*

Узнайте, что я занят… не ошибетесь, если скажете женщиной: да, ей: нужды нет, что мне 45 лет, а сильно занят Ольгой Ильинской (только не графиней). Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с 6 до 9 часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару — и к ней. Сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя и моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести. Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию или прямо в Париж, не знаю: все будет зависеть от того, овладею я ею или нет. Если овладею, то в одно время приедем и в Петербург: Вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я вожусь с нею, или это так, бесцветная, бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее. Но теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства: так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, измеряю комнату большими шагами, голова кипит: я бы даже, кажется, мог сочинить что-нибудь, если б не запрещали доктора. Волнения вредны, а я волнуюсь, но это surcrot[44] волнения происходит от свойства здешних вод. Я не знал этого и тревожился: доктор растолковал мне и сказал, чтоб я успокоился, что он знает, сколько давать мне пить воды, и больше трех кружек не дает. <…> Вы покачаете головой и опять глубокомысленно засмеетесь; может быть даже пожалеете: не жалейте, я счастлив — от девяти часов до трех — чего же больше. Женщина эта — мое же создание, писанное конечно, — ну, теперь угадали, недогадливый, что я сижу за пером? А там пусть будет — что будет или advienne ce que pourra — в переводе. В три часа я беру ванну из минеральных вод для укрепления печени и расслабляемого водою желудка, потом обедаю и иду гулять — один или с другой женщиной, тоже русской, очень любезной и осторожной, что лишнего слова не скажет. По моей способности к ходьбе, мне мало Мариенбада, и я сегодня ушел в лес, зашел Бог знает куда и раскаялся, потому что вдруг ворочаться сделалось — лень, а надо было идти верст пять по жаре. — Здесь все тихо, только доктора задорно спорят, и изустно, и печатно, о том, отчего больные от мариенбадской воды испражняются зеленым веществом: одни говорят, что это желчь, другие — что натр, землянистые начала и т. д. — словом, здесь г… возбуждает идеи

и даже страсти. А в самом деле зеленое.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. Мариенбад, 25 июля (7 августа) 1857 года:*

Угадайте, что я делаю? Не угадаете: живу, живу, живу:

И для меня воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы…

Только не любовь: она не воскреснет.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. Мариенбад, 25 июля (7 августа) 1857 года:*

Вот уж шестая неделя, несравненный друг мой Юния Дмитриевна, как я живу в Мариенбаде, и собираюсь уехать только в воскресенье дальше, куда-нибудь, мне все равно. Я вспоминаю о Вас беспрестанно, и скажу почему. Но прежде скажу о своем здоровье и о леченье. Каждое утро встаю я в половине шестого и в седьмом часу являюсь к источнику пить от 3 до 4 больших кружек воды и хожу два, а иногда 2 $^1/_2$ и даже до 3-х часов. Обедают в Мариенбаде в час, самые поздние в два, а я в четыре: не могу следовать общему правилу: кусок в горло нейдет; да притом перед обедом я беру — один день ванны из грязи, другой из минеральной воды, все от печени. Грязь так черна, как деготь, и так густа, что с некоторым усилием надо продавить в ней себе место, чтоб сесть: опускаешься точно в болото. Зато тепло, 27 градусов, и притом она немного щиплет кожу. Напротив ванны стоит зеркало: я, вылезая от туда, всякий раз посмотрю на себя и не налюбуюсь, потом займусь вытаскиванием комков, прутиков и мелких камешков, которые набьются *везде,* да и сидя в ванне, занимаюсь вытаскиванием из-под себя всякой дряни, то есть камней и щепочек. Рядом тут же стоит теплая ванна с водой: я перехожу в нее и опять делаюсь чист, бел и прекрасен, как Вы меня знаете. <…> Обедаю я четыре блюда: пять ложек супу, баранью или телячью крошечную немецкую котлетку и полцыпленка, и самого тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду. Вина я здесь не видал и ни разу не вспомнил о нем, о водке никто в Мариенбаде не слыхивал, фрукты и салат строжайше запрещены, как и всякая сырая зелень. Но кофе и чай позволены, кому что нравится. В 10 часов весь Мариенбад уже спит, и — подивитесь — я тоже, да ведь как: на днях была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. По-видимому, все бы это должно было помочь, и помогает, я это

чувствую. Припадков желудочных нет, желтых пятен на лице тоже, живешь на чистом воздухе: у меня перед окнами парк и горы, с лесами — все, что Вы видите здесь на виньетке[45], воздух — лучше даже Безбородкинской дачи, — и при всем том леченье мое едва ли удастся. Угадайте, отчего? Оттого, что ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу… почти до обморока. Встаю из-за работы бледный, едва от усталости шевелю рукой… следовательно, что лечу утром, то разрушаю опять днем, зато вечером бегаю и исправляю утренний грех. А вспоминаю Вас часто, потому что — помните — как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый — etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас! какими пустяками казалось Ваше пророчество. Здоров, напишу роман: какая бестолковая! — думал я, — разве это возможно, разве не прошло это все, и здоровье, и романы! И что же: Вы чуть не правы! <…> Так слушайте же: я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня *закончена 1-я часть Обломова, написана вся 2-я часть* и довольно много *третьей*, так что лес уже редеет и я вижу вдали… конец. Странно покажется, что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что мне оставалось почти только записать его; во-вторых, он еще не весь, в-3-х, он требует значительной выработки, в-4-х, наконец, может быть, я написал кучу вздору, который только годится бросить в огонь. Авось, Бог даст, годится на что-нибудь и другое, погожу бросать. Я бы охотно остался месяц еще здесь, потому что дальше, знаю, мне не удастся уже заняться писаньем; но не остаюсь потому, что недописанное нетрудно будет, несмотря на занятия, докончить и в Петербурге. Главное, что требовало спокойствия, уединения и некоторого раздражения, именно главная задача романа, его душа — женщина, — уже написана, поэма любви Обломова кончена: удачно ли, нет ли — не мое дело решать, пусть решают Тургенев, Дудышкин, Боткин, Друж<инин>, Анненк<ов> и публика, а я сделал, что мог. Но зато теперь уже кончено, больше никогда ничего не стану писать, не смейте предсказывать: типун сядет на язык. Я и то измучился. А хотелось бы сказать еще одно заветное, последнее сказанье… Но не могу, кончено. Если теперь и написал *что-нибудь,* так это, должно быть, мариенбадская вода помогла. Это *что-нибудь* составляет *сорок пять* моих писаных листов, а Вы знаете, что значит мой писаный лист. Надо считать 45 листов, написанных здесь, да первой части сколько! Будет ли три части, или конец я сокращу — еще не знаю сам, я занимаюсь настоящим и не спешу

заглядывать в будущее, не знаю также, когда можно его печатать, где, — ничего не знаю. Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени, и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими осыпают? Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу, выдался теперь свободный месяц, и, лишь только я дохнул свежим воздухом, я написал книгу! Нет, хотят, чтоб человек пилил дрова, носил воду, да еще романы сочинял, романы, то есть где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. И. Льховскому. Мариенбад, 2 (14) августа 1857 года:*

Да, сын мой Горацио: есть вещи, о которых не снилось нашим журналистам. Представьте себе, если можете, что я приехал сюда 21 июня нашего стиля и мне было так скучно, что я через три дня хотел уехать, дня три-четыре писал письма к Вам, к Языкову, в Симбирск — не знал, что делать, а числа эдак 25 или 26-го нечаянно развернул Обломова, вспыхнул — и 31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов! *Я закончил первую часть, написал всю вторую и въехал довольно далеко в третью часть.* Доктор мой Франкль видел, как сначала мне было скучно и потом как я успокоился, он был рад, заставая меня за работой. Но когда он заставал меня и в 10-м, и в 1-м, и в 3-м часу у письменного стола, он начал жаловаться, унимать и теперь бегает везде по русским больным и рассказывает, что я не вылечусь, потому что все сижу и занимаюсь — *статистикой!* Безобразов сказал ему сначала о себе, что он литератор, а потом и обо мне, он смешал нас, и из этого всего вышла *статистика.* Кроме того, Франкль дал мне свои книги о Мариенбаде и думает, что я делаю описание о Мариенбаде для России и пишу также о нем. Пусть его думает! <…>

Не знаю, вылечился ли я, я только знаю, что мне еще недели три пристальной работы осталось до окончания Обломова. *Локти* уже давно на сцене. Поэма изящной любви кончена вся: она взяла много времени и места. Неестественно покажется, как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить в года? На это отвечу, что если б не было годов, не написалось бы в м<есяц>е ничего. В том и дело, что роман выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его. Я писал как будто по диктовке. И, право, многое явилось бессознательно; подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать. Например, в программе у меня женщина намечена была страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и

пошел дорисовывать остальное уже согласно этой черте, и вышла иная фигура. При этой фигуре мне не приходили в голову ни Е<лизавета> В<асильевна>, ни А. А. — решительно никто, да и ни в одном из действующих лиц тоже. Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а все идеалы: годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели. Или, наконец, надобен огромный, гоголевский талант, чтоб овладеть и тем и другим. — Меня перестала пугать мысль, что я слишком прост в речи, что не умею говорить по-тургеневски, когда вся картина обломовской жизни начала заканчиваться: я видел, что дело не в стиле у меня, а в полноте и оконченности целого здания. Мне явился как будто целый большой город, и зритель поставлен так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, средина, отвечают ли предместия целому, как расположены башни и сады, а не вникает, камень или кирпич служили материалом, гладки ли кровли, фигурны ли окна etc. etc. Вся эта большая сказка должна, кажется, сделать впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить. Герой, может быть, неполон: недостает той или другой стороны, не досказано, не выражено многое: но я и с этой стороны успокоился: а читатель на что? Разве он олух какой-нибудь, что воображением не сумеет по данной автором идее дополнить остальное? Разве Печорины, Онегины, Бельтовы etc. etc. досказаны до мелочей? Задача автора — господствующий элемент характера, а остальное — дело читателя. Может быть, из всех — великих и малых талантов — один Сервантес успел досказать во всей подробности своего героя, зато местами и скучновато. <…> Я, однако же, не хлопаю крыльями, как петух, не кричу о своей победе, потому что не знаю, куда я вскочил: может быть, на навозную кучу. Поэтому скажите Юниньке, которой я писал о своей работе, чтоб она не трещала очень о ней. Чего доброго, пожалуй, придется спрятать ее со стыдом под спуд. Например, женщина, любовь героя, Ольга Сергеевна Ильинская, — может быть, такое уродливое порождение вялой и обессиленной фантазии, что ее надо бросить или изменить совсем: я не знаю сам, что это такое. Выходил из нее сначала будто образ простоты и естественности, а потом, кажется, он нарушился и разложился. Да, может быть, это все очень глупо. Я в недоумении: между тем мне скорей хочется уехать отсюда в Лозанну, в Берн, в Веве, куда-нибудь и запереться еще на месяц и приехать назад и сказать: я кончил, кончил. Мне уже слышится Ваша сдержанная речь, как Вы по чайной ложечке лакомите меня ласковой похвалой, мне снятся широкие объятия Тургенева или молчаливая, затаенная досада тех, которые не любят чужого

успеха. Но на всю эту смеющуюся перспективу я смотрю, как на сон, едва сбыточный. Времена не те, и свежесть во мне не та — и все не то. — А сколько еще выработки предстоит — ужасно подумать: одно только отрадно, что выработка — не труд, а наслаждение. — Как же это случилось, что я, человек мертвый, утомленный, равнодушный ко всему, даже к собственному успеху, вдруг принялся за труд, в котором было отчаялся? И как принялся, если б Вы видели! Я едва сдерживал волнение, мне ударяло в голову, Луиза заставала меня в слезах, я шагал по комнате как сумасшедший и бегал по горам и лесам не чувствуя под собой ног. Этого ничего не бывало и в молодости. Увы, все объясняется очень просто. Мариенбадская вода производит страшное волнение, так что полнокровным дают ее пить очень осторожно и немного. Иные пьют по шести кружек, а мне доктор велел пить по три. Недавно в книге Франкля я прочел, что здешняя вода, между прочими последствиями, производит расположение к умственной и духовной деятельности. Вот и секрет. К этому прибавьте чудный воздух, движение по пяти часов в день, известную диету и отсутствие всякого признака вина и водки — и тогда станет понятно, как могла в месяц написаться вещь, не написавшаяся в восемь лет. <…> Если б я знал, что кончу все остальное, то не поехал бы в Париж, а остался бы где-нибудь в уголке Швейцарии, да боюсь, не кончу, ведь мариенбадской воды не будет более и после буду жалеть. Действие уже происходит на Выборгской стороне: надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя и тщетные усилия друга разбудить его. Может быть, все это уляжется в нескольких сценах — и тогда хвала, хвала тебе, герой! Меня тут радует не столько надежда на новый успех, сколько мысль, что я сбуду с души бремя и с плеч обязанность и долг, который считал за собой.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма неустановленному лицу (С. А. Никитенко?). Франкфурт-на-Майне, 15 (27) августа 1857 года:*

Менее нежели в два месяца написано моей рукой 62 листа, и еще осталось закончить две последние сцены: прощание Обломова навсегда с приятелем и заключение, небольшую сцену, в которой досказывается, что сталось со всеми героями романа. Сцены набросаны и могли бы быть кончены в три, четыре присеста. Но в предпоследний присест, от усиленной работы, мне сделалось дурно, а на другой день меня рассердил мошенник-кучер, и я спрятал рукопись в чемодан, до Парижа или до Петербурга. Труда еще бездна: обработка лиц и сцен, несмотря на

то, что многие сцены вылились так, что не требуют больших хлопот, и что другие я успел обработать тотчас. Потом, надо решить, годится ли это, и если годится, то в какой мере. Этого я один решить не умею, надо с помощью приятелей, и в том числе с Вашей, конечно, и более нежели с чьей-нибудь. Я боюсь одного: ну как Вы вдруг возмутитесь этой опекой и откажетесь? Тогда, помните, пройдет в печать много глупостей, которым бы Вы могли помешать. Доктор все бегал и рассказывал до самого конца, что я не вылечусь, потому что слишком много занимаюсь статистикой. Он мне даже подарил свои книги для описания вод, и я каждый день отдираю от них — по два листка. Я так заработался, так много сделал в эти три месяца, что другой в две свои жизни не написал бы столько, и теперь жажду покоя и бездействия.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И И Льховскому. 22 августа (1 сентября) 1857. Из Парижа:*

Я сказал, что еду прямо в Париж, а отправивши письмо, поехал в Майнц и оттуда до Кельна сделал великолепнейшую прогулку по Рейну. <…> В Кельне я бросил в номере гостиницы свой чемодан и побежал смотреть собор. Я выбежал на него из-за какой-то лавчонки и почти лег на спину, чтоб увидеть одну башню, которая готова только вполовину; и еще должно прибавиться столько же, даже больше гораздо, а в ней уж и так 130 фут<ов>. Купив склянку одеколоню, я на другой день ранехонько с шнельцугом поехал в Париж, куда и прибыл очертя голову, но благополучно в тот же вечер, то есть 16 нашего августа в 9 часов, а в половине десятого, бросив опять чемодан, rue du Helder, hotel du Bresil, — в дорожном своем сереньком сюртучке сидел уже на Итальянском бульваре, за одним из бесчисленных выставленных на улице мраморных столиков у Тортони и ел весьма посредственное мороженое. В это время парижские бульвары кипят неведомою у нас жизнию толкотни, шума, праздного сидения, зеванья, фланерства — словом, жизнию наруже. Воротясь в 11 часов к себе, я узнал от гарсона, что в этой же гостинице du Bresil живет много русских, и, между прочим, Фет, который в тот день женился на сестре Боткина, наконец, сам Боткин. Я увиделся с ними на другой день, а на третий день и с Тургеневым, третьего дня читал им свой роман, необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякою дрянью. Несмотря на то, Тургенев разверзал объятия за некоторые сцены, за другие с яростью пищал: длинно, длинно, а к такой-то сцене холодно подошел и т. п. На другой день мы все обедали у одного Шеншина (брата

Фета, от другого отца) в отличном ресторане и отлично наелись и выпили немного; вечером я читал, но у меня не двигался язык, Боткин задремал, но при одной страстной сцене очнулся. «Перл! Перл!» — кричал он, но читать было невмочь. На другой день Тург<енев> уехал в поместье Виардо и через пять дней будет опять. Я сам в первый раз прочел то, что написал, и узрел, увы! что за обработкой хлопот — несть числа.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:*

Я читал им то или другое место, ту или другую главу из одной, из другой, из третьей части — и был счастлив, что кончил.

Тургенев как-то кисло отозвался на мое чтение. «Да, хоть и вчерне, а здание кончено, стоит!» — сказал он почти уныло, чем несколько удивил меня.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. Париж,* 25 *августа* (5 *сентября) 1857 года:*

Я читал Тургеневу и Боткину: Тургенев слышал только начало, он уехал в имение Виардо, а Боткин слышал все и очень тонко понял, что я хотел выразить. Он предсказывает успех, но все мы трое решили, что за отделкой работы много.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892), *поэт:*

Как-то в полуденное время И. А. Гончаров, занимавший комнату этажом выше над нами, пригласил Тургенева, Боткина и меня на чтение своего только что оконченного «Обломова». В жаркий день, в небольшой комнате стало нестерпимо душно, и продолжительное, хотя и прекрасное чтение наводило на меня неотразимую дремоту. По временам, готовый окончательно заснуть, я со страхом подымал глаза на Боткина и встречал раздраженный взгляд его, исполненный беспощадной укоризны. Но через десять минут сон снова заволакивал меня своею пеленою. И так до самого конца чтения, из которого я конечно не унес никакого представления.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), *прозаик, драматург, поэт. Из письма Н. А. Некрасову. Париж, 9(21) сентября 1857 года:*

Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного «Обломова», — есть длинноты, но вещь капитальная и весьма было бы хорошо, если бы можно было приобрести его для «Современника», тем более что его сделка с «Русским вестником» расклеилась. Он уехал в Дрезден и мы, может быть, вместе вернемся через Варшаву, если ж он приедет раньше меня, не

упускай его из виду, а я уж запустил несколько слов — все дело будет в деньгах.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. и (23) сентября 1857. Из Парижа:*

С этим романом я жил еще в молодости, десять лет тому назад, иначе бы я не выдумал всего теперь, что там есть. Да и скажу прямо, без жеманства, что роман далеко не так хорош, как можно было ждать от меня, после прежних трудов. Он холоден, вял и сильно отзывается задачей. Может быть, если б я имел полгода свободы для выработки, так мог бы еще сделать получше, а теперь придется скомкать как-нибудь.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника: 1858. Сентябрь 10. Среда.*

Вечером у Гончарова слушал новый роман его «Обломов». Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести. Со мною вместе были слушателями его: Краевский, который и купил его для «Отечественных записок», Дудышкин и Майков, издатель детского журнала («Подснежник»).

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:*

Весь 1858 год я посвятил отделке, а в 1859 году (кажется, я не ошибаюсь в годах) я напечатал его в «Отечественных записках», в 4-х книжках, янв., февр., март, и апрельской. Успех превзошел мои ожидания. И Тургенев однажды заметил мне кратко: «Пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова». В другой раз, когда я читал ему последние написанные уже в Петербурге главы, он быстро встал (в одном месте чтения) с дивана и ушел к себе в спальню. «Вот я уж старый воробей, а вы тронули меня до слез», — сказал он, утирая слезы.

На службе

Елизавета Александровна Гончарова:

Иван Александрович служил сплошь все тридцать пять — сорок лет в своей жизни, был страшно занят этой казенной службой и писал романы в минуты отдыха в Мариенбаде или у сестры на Волге. Служить необходимо, считал он.

Анатолий Федорович Кони:

Он не был обеспечен материально, как Толстой и Тургенев, а этого обеспечения литературный труд, даже в самом разгаре писательства Гончарова, давать не мог даже для скромной жизни. Достаточно сказать, что за уступку авторского права на все свои сочинения в половине восьмидесятых годов он получил всего шестнадцать тысяч рублей. Современные гонорары писателям, далеко не имеющим значения Гончарова, показались бы в то время совершенно баснословными. Поэтому ему приходилось служить и, следовательно, отдавать значительную часть своего времени государственной службе. Ему пришлось занимать место цензора, быть редактором официальной «Северной почты» и окончить службу, по выслуге скромной пенсии, в звании члена Главного управления по делам печати. К своим служебным обязанностям он относился как человек строгого долга, глубоко добросовестно в смысле труда и с благородной самостоятельностью мнений, всегда направленных на защиту мысли, дарований и правды. Это было не легко и требовало притом усиленной письменной работы.

Гавриил Никитич Потанин:

Несмотря на громадный успех в литературе, <…> он не только напрашивался на государственную службу, а еще выдумывал для себя такую, которая бы мучила его. В столь блистательное для него время (начало 1850-х. — *Сост.),* к удивлению моему, встречаю этого великого писателя в убогой должности столоначальника в министерстве финансов. Ноет, жалуется человек, что ему «ужасно противны цифирки». Впрочем, не прошло года, от цифирок он ушел, но тут же взвалил на себя службу еще тяжелее — обязанности цензора. Здесь он окончательно изнемог и пишет сестре: «Не знаю, что делать? Работы страсть много: читаю и день и ночь, и больше такую нелепость, что сам не понимаю, что читаю!» И все-таки продолжает, читает, служит, и дослужился наконец до того, что окончательно заболел. Точно в утешение пишет он опять сестре:

«Усидчивая работа и губительный петербургский климат так меня доконали, душа Саша, что хочу, наконец, попроситься в отпуск», — и тут, заметьте, только «в отпуск», а не в отставку. Вот усердие!

Андре Мазон (фр. Andre Mazon, 1881–1967), *французский славист, биограф И. А. Гончарова, профессор, член Академии надписей (1941):*

С 10 февраля 1856 года до 31 декабря 1858 года, т. е. за неполных три года, Гончаров, по должности цензора, прочитал 38 248 страниц рукописей и 3369 листов печатных изданий. По годам это количество распределяется следующим образом: в 1856 году — 10 453 страниц рукописей и 827 листов печатных изданий, в 1857 году — 8584 листов рукописей и 1039 листов печатных изданий, в 1858 году — 19 311 страниц рукописей и 1052 листов печатных изданий.

Из доклада председателя С.-Петербургского цензурного комитета министру народного просвещения А. С. Норову. 21 января 1860:

Цензор С.-Петербургского цензурного комитета, статский советник Гончаров, в поданном мне прошении объясняет, что, страдая хроническим ревматизмом в висках и во всем лице, он должен на некоторое, может быть довольно продолжительное время уехать за границу, или куда укажут медики, и вследствие сего просит об увольнении его от службы.

Не находя с своей стороны никакого к сему препятствия, я имею честь о просьбе г. Гончарова представить на благоусмотрение вашего высокопревосходительства. С тем вместе я дозволю себе объяснить, что для С.-Петербургского цензурного комитета потеря г. Гончарова, как одного из просвещеннейших и полезнейших его деятелей, будет, конечно, в высшей степени ощутительна; он соединял в себе редкое умение соглашать требования правительства с современными требованиями общества и, принося этим неоценимым в цензоре качеством пользу литературе, вместе с тем избавлял и самое министерство народного просвещения от пререканий и неприятностей, столь часто встречающихся по делам цензурным.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника: 1862. Июль 7. Суббота.*

Поздно вечером приехал ко мне Арсеньев, и мы вместе составили телеграфическую депешу к Гончарову в Москву, приглашая его скорее вернуться в Петербург. У Валуева есть

намерение поручить ему главную редакцию «Северной почты».

Гавриил Никитич Потанин:

— Видите, вон какие вороха лежат, и всю эту дребедень нужно самому зорко прочитать! — едва выговорил он с сокрушением.

— Что это такое?

— Корректуры проклятые! Не слыхали разве: я теперь главный редактор «Северной почты»? Официальная газета — построже нужно! — прибавил он точно в похвалу себе.

Я ничего не сказал, видел только сильно озабоченное редакторское лицо. А Иван Александрович с нытьем начал мне жаловаться, какое ужасное время теперь и как трудно настоящим редактором быть.

— Верите ли, ни одной трезвой идеи нельзя провести, так и залают на тебя со всех сторон! Черт знает, что такое теперь? Какой-то разбойничий хаос в литературе.

Я в это время был новичок в Петербурге, вовсе еще не чуял никакого литературного хаоса, а потому и на это молчал. Видел только, что Иван Александрович сильно озабочен, еще с первого слова намекнул, что у него «работы много», и потому я поспешил проститься и ушел.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Д. Л. Кирмаловой. 5 декабря 1862. Из Санкт-Петербурга:*

Ну, что сказать? Сказал бы: скучно, пора перестать жить, да некогда и подумать об этом. Работа поглощает меня всего, а это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьего дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня или что ожидал всего, кроме трудолюбия, считая меня за Обломова. А я ему давно сказал, чтобы он не ожидал от меня ничего, кроме этого, и до сих пор пока держу слово. Никуда не хожу, ничего не читаю, кроме «Северной почты», а там, как видишь, читать нечего, да и не нужно. Эта газета не для чтения, а для узнания официальных новостей и кое-каких статистических сведений.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

25 января 1863. Какая и кому польза от «Северной почты» в том виде, в каком она ныне издается? Ни правительству, ни обществу. Служит ли она органом первого? Нет! Она не содержит в себе ни разъяснений видов правительства, ни даже фактов — хотя и то и другое предполагалось при ее основании.

Гавриил Никитич Потанин:

…Мне не пришлось видеться с ним год или два. Слышал только мельком, что его официальная «Северная почта» недалеко ускакала с севера на юг: верно, сотрудники ее, как и сам редактор, сильно устали. «Почту» скоро закрыли.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

1863. Июнь 16. Воскресенье. <…> Встретился с Тройницким, который заходил ко мне. <…> Он объявил мне, что Совет по делам печати будет на этой неделе собран. Члены его: я, Гончаров, Варадинов, Пржецлавский, Турунов. Председателем — он, Тройницкий. Гончаров произведен в действительные статские советники. Ну, я думаю, он очень рад. Ему уже давно хотелось быть превосходительством.

Июнь 18. Вторник. Был поутру в городе. Заходил к Гончарову поздравить его с действительным статским советником. Он очень доволен.

Июнь 21. Пятница. К чаю пришел Гончаров. О производстве его и о назначении членом Совета по делам книгопечатания уже получен указ.

Июнь 22. Суббота. <…> Первое заседание Совета по делам книгопечатания. Присутствовали: председатель Тройницкий, Пржецлавский, Гончаров, Варадинов, Тихомандритский, я, директор полиции исполнительной Похвиснев и Турунов. Распределены были газеты и журналы для наблюдения. <…> Мой друг *И. А. Гончаров* всячески будет стараться получать исправно свои четыре тысячи и действовать осторожно, так, чтобы начальство и литераторы были им довольны.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Н. А. Гончарову:*

Я уже газетой больше не заведываю, как ты, вероятно, прочел в «Северной почте». Я принял редакцию по желанию министра, но сам не очень желал этого места. Министр обещал мне тогда же другое назначение по цензурной части, но это должно было состояться не прежде нового года, по рассмотрении и утверждении правительством нового цензурного устава. Однако ж обстоятельства потребовали образования временного совета при министре по делам книгопечатания, и таким образом я получил место члена в совете скорее, нежели ожидал.

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

1864. Февраль 2. Воскресенье. <…> Некрасов просил меня очень покорно о поддержке в Совете по делам печати его просьбы

по поводу одной статьи, которую ему хочется поместить в «Современнике».

И. А. Гончаров, по обычаю своему, уклоняется от этого, сваливая на меня, хотя дело касается до него, потому что он распоряжается «Современником». Я не привык уклоняться и потому сказал, что сделаю что могу и что должно.

Март 5. *Четверг.* <…> Дело состояло в том, что в «Современнике» назначена была статья «Пища и ее значение», кажется, работы Антоновича. Статья эта открыто проповедует материализм под тем видом, что человеку прежде всего нужно есть, а потом, говоря о труде и несоразмерности вознаграждения за труд, выводит коммунистические и социалистические тенденции. Будь это популяризирование или начала науки, я ни слова не сказал бы против этого, каких бы щекотливых вопросов статья ни касалась. Но это просто прокламирование к людям недалеким умом и знанием о том, что человек и живет, и мыслит, и все делает на свете одним брюхом и что по началам и стремлениям этого брюха надобно переделать и общественный порядок. Сначала рассматривал эту статью И. А. Гончаров, и, по свойственному ему обычаю сидеть на двух стульях — угождать литературной известной партии из боязни быть ею обруганным в журналах и оставаться на службе, которая дает ему четыре тысячи рублен в год, — он отозвался о статье и так и сяк, но более так, чтобы им осталась довольна литературная партия. Он, однако, употребил уловку, впрочем не очень хитрую и замысловатую, хотя принятую, очевидно, с хитрым намерением отклонить от себя решительный приговор: он просил совет назначить еще кому-нибудь из членов прочесть эту статью. Совет возложил это на меня. <…> Прочитав со вниманием статью, я убедился в том, что это негодная статьишка из многих в «Современнике» и «Русском слове», рассчитывающая на незрелость и невежество, особенно молодого поколения, и добивающаяся популярности в его глазах проповедованием эксцентрических и красных идей. Чего хочется этим господам? Денег и популярности. Трудиться им серьезно для добывания их нет ни желания, ни надобности. В иностранных литературах и книгах есть все, что угодно: оттуда легко добыть всевозможных прелестей радикально-прогрессивного цвета; они будут у нас новы, и, выдавая их за свои, легко добыть славу великого мыслителя, публициста. Перо же у нас бегает по бумаге довольно скоро. Само собою разумеется, что нельзя же потворствовать в печати этому умственному разврату и эгоизму, которому нет дела до последствий, лишь бы добыть денег и популярности. <…> Совет не только согласился с моим заключением, но определил

записку мою *для руководства* послать в здешний и Московский цензурные комитеты.

Забавен был Иван Александрович: он спорил со мною, стараясь доказать, — и, правду сказать, очень нелепо, — что пора знакомить наше общество и с скверными идеями. Он забыл про то, что оно и так хорошо знакомо со многими скверными идеями, но из этого не следует увеличивать зла новым злом посредством печати, которой у нас верят, как Евангелию, что знакомить людей со всеми мерзостями, прежде чем дано им орудие бороться с ними, — значит решительно делать их безоружными и покровительствовать злу. Потом Иван Александрович согласился со мною и даже горячо поддерживал мысль принять мою записку в руководство. Итак, теперь он имеет полную возможность объявить в известном кругу литераторов, что он горою стоял за статью, но что Никитенко обрушился на нее так, что его защита не помогла, — это главное, а между тем он не восстал и против решения совета. И козы сыты, и сено цело… <…>

Апрель 2. Четверг. Заседание в академии, в совете министерства внутренних дел и в совете попечительском. В совете министерства опять побит Пржецлавский — на сей раз Гончаровым — по вопросу об усиленном надзоре за нападением на личности, за карикатурами и прочим. Пржецлавский хотел, чтобы для этого дана была определенная инструкция цензорам…

1865. Декабрь 23. *Четверг.* Вечер просидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в Совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати как полицейский чиновник; председатель совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дают направление Ф[укс] и делопроизводитель. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и предрасполагают его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-нибудь неугодны. Выходит, что дела цензуры, пожалуй, никогда еще не были в таких дурных, то есть невежественных и враждебных мысли, руках.

Гавриил Никитич Потанин:

Года через два я окончательно понял тот «литературный хаос», о котором Гончаров говорил; понял тоску патриота Гончарова, и мне сердечно захотелось повидаться с ним. Но это печальное свидание не дало ничего утешительного! Гончаров же начал болеть старостью, жаловался, что плохо видит его правый глаз, в разговоре был томительно вял. Только и было

утешительного, что мы вспоминали наши счастливые сороковые года. <…>

— Нет, верно все придется бросить! — крикнул он отчаянно и махнул рукой.

Я чуть не со слезами простился ним.

Бессильный, усталый и недовольный Гончаров действительно бросил все, и службу, и сношения с обществом, и принялся дописывать свой последний роман «Обрыв», который за недосугом и службой писался клочками 20 лет! Критик говорит, что этот роман был любимое детище Гончарова. Но с детищем его в литературе случилось то же, что бывает с любимцами детьми в жизни: любимцы дети не всегда бывают хороши. Роман Гончарова публика встретила холодно, а в некоторых кружках даже враждебно.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма И. С. Тургеневу. Петербург, 10(22) февраля 1868 года:*

Вы обратились ко мне, как к члену Совета по делам книгопечатания, любезнейший Иван Сергеевич, по Вашему делу, а вот я с 29-го декабря не член больше: вышел в отставку, о которой давно помышлял как об отрицательном и неизбежном благе. Застои крови и особенно слабость глаз, все увеличивающаяся от чтения при огне — буквально выгнали меня из службы. Боязнь за глаза — серьезная боязнь, а служба моя вся состояла в чтении. Прослужив 30 лет, я счел себя вправе успокоиться и отдохнуть, — все, что мне теперь остается, так как свобода теперь для меня — мертвое благо, которым я не могу воспользоваться производительно. К тому же могу сказать про себя: «Но не всегда мила свобода Тому, кто к неге (то есть к жалованью) приучен» — понеже пенсия, благодаря Богу и Царю мне назначенная, дает средства — существовать, но без всякой неги, даже без хороших сигар, которые, если пожелаю курить — должен выкидывать какие-нибудь литературные штуки, а между тем не чувствую к таковым — ни охоты, ни сил.

Одоление «Обрыва»

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:*

В 1849 году я уехал на Волгу, в Симбирск, на родину — и там, в течение четырех летних месяцев у меня родился и развился в обширную программу план нового романа, именно «Обрыв». Он долго известен был в кругу нашем под именем «Художника», т. е. «Райского». <…>

Вместо нигилиста Волохова, каким он вышел в печати, у меня тогда был намечен в романе сосланный под надзор полиции, *по неблагонадежности,* вольнодумец. Но такого резкого типа, каким вышел Волохов, не было, потому что в 40-х годах нигилизм еще не проявился вполне. А посылали по губерниям часто заподозренных в вольнодумстве лиц.

Но как я тянул, писал долго, то и роман мой видоизменялся, сообразно времени и обстоятельствам. Я был вторично в 1862 году на Волге — и тогда Волоховы явились повсеместно уже такими, каким он изображен в романе. Потом, по первоначальному плану, Вера увлекшись Волоховым, уехала с ним в Сибирь, а Райский бросил родину и отправился за границу и через несколько лет, воротясь, нашел новое поколение и картину счастливой жизни. Дети Марфиньки и проч.

Была у меня предположена огромная глава о *предках Райского,* с рассказами мрачных, трагических эпизодов из семейной хроники их рода, начиная с прадеда, деда наконец, отца Райского. Тут являлись один за другим фигуры елизаветинского современника, грозного деспота и в имении, и в семье, отчасти самодура, семейная жизнь которого изобиловала насилием, таинственными, кровавыми событиями в семье, безнаказанною жестокостью с безумной азиатской роскошью. Потом фигура придворного Екатерины, тонкого, изящного, развращенного французским воспитанием эпикурейца, но образованного, поклонника энциклопедистов, доживавшего свой век в имении между французской библиотекой, тонкой кухней и гаремом из крепостных женщин.

Наконец следовал продукт начала XIX века — *мистик-масон,* потом герой-патриот 12–13–14 годов, потом декабрист и т. д. до Райского, героя «Обрыва». Все это я рассказывал, как рассказывают сны, с увлечением, едва поспевая говорить, то рисуя картины Волги, обрывов, свиданий Веры в лунные ночи на дне обрыва и в саду, сцены ее с Волоховым, с Райским и т. д., и т. д., сам наслаждаясь и гордясь своим богатством и спеша отдать

на поверку тонкого, критического ума.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ю. Д. Ефремовой. Мариенбад, 1 (13) июля 1859 года:*

Вглядевшись пристально в то, что я хотел писать, я увидел, что надо положить на это года три исключительной работы, при условиях свободы, здоровья и свежих, не упавших сил. И я очень рад этому, потому что теперь с меня как будто снимается обязанность литераторствовать; я кончил и вздохнул свободно, ибо где я возьму три года праздности и свежих сил? Явно, что мне мечтать об этом нечего. Притом, работая, я страшно вредил себе: сидел до бледности, до изнеможения, задав себе глупую, чиновничью работу написать хоть часть одну, как будто доклад какой-нибудь. Следствием было то, что я стал чувствовать себя хуже, чем прежде, и я бросил, решительно бросил и навсегда.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и С. А. Никитенко. Мариенбад, 3 (15) июня 1860 года:*

<…> Вчерашнее утро принадлежит к лучшим утрам моей жизни. Я чувствовал бодрость, молодость, свежесть, был в таком необыкновенном настроении, чувствовал такой прилив производительной силы, такую страсть выразиться, какого не чувствовал с 57 года. Разумеется, это не пропало даром для будущего (если только будет) романа: он весь развернулся передо мной часа на два готовый, и я увидал там много такого, чего мне и не грезилось никогда. Для меня теперь только понятно стало значение второго героя, любовника Веры; к нему вдруг приросла целая половина, и фигура выходит живая, яркая и популярная; явилось еще тоже живое лицо; все прочие фигуры прошли передо мной в этом двухчасовом поэтическом сне, точно на смотру, все они чисто народные, со всеми чертами, красками, с плотью и кровью славянскими. Нет намеков, загадок, тумана, как в фигуре, например, Штольца, о котором не знаешь, откуда и зачем он?

Конечно, все это дело не одного лета, даже не одного года, но если *сон в руку,* то я могу и потерпеть, лишь бы стало меня. Это удивительное, благотворное утро!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Е. А. и С. А. Никитенко. Мариенбад, 23 июня (4 июля) 1860 года:*

Бог знает, что делается со мной: в иные дни встаешь бодро, весело, свежо, трепещешь от удовольствия, принимаясь за работу, видишь впереди отличную перспективу, и эти дни плодотворны, много сделаешь, придумаешь. В другое время, вот как дня три — тяжесть, скука, уныние и отвращение к труду, к людям, к себе

самому и более всего к жизни! И погода (может быть, это все от нее) совершенно располагает к хандре: холодно, дождливо — и везде, говорят, то же самое.

Потом вторая, но чуть ли не главная причина: я *не знаю,* что писать, я *не умею писать, я* не знаю, о чем хочу писать. Кто такой герой, что он такое, как его выразить — я стал в тупик. Вчера я напал на след новой, смелой мысли или способа, как провести героя через весь роман, но для этого надо бросить все написанное и начать снова: пожалуй, я бы не прочь, как это ни тяжело, ну а если эта новая выдумка — нелепость, вздор? <…>

Нет, видно надо мне исполнить неизбежный *долг:* отказаться от бесполезных попыток и взяться за другое, более практическое и существенное творчество, за работу не поэтическую, но более нужную и мне и себе. Я помню, что я годился и на другое и работами моими не пренебрегали. Смирюсь и сознаюсь, что судьба справедливо поступила, наказав меня лишением энергии и сил за долговременную праздность и излишние стремления к наслаждениям. Вы правы, надо было посвятить себя всего тому, к чему был призван, а не дилетантствовать, а если прозевал, да еще притом другой перебил дорогу, то — сам виноват.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Мариенбад, 28 июня (10 июля) 1860 года:*

Представьте теперь мое затруднение уловить все эти свойства, выразить в образе художника, сделать живым лицом, которому бы верили, существование которого согласились бы признать. Я пишу много и пишу вздор, тороплюсь, чтоб мне скорее написать, кончить басни, пишу — не творю, а сочиняю, и оттого выходит дурно, бледно, слабо, потому что хорошего нельзя выдумать и сочинять: оно приходит как-то нечаянно, само, и этого нечаянного, то есть поэзии, нет как нет. Написано уже много, а роман собственно почти не начался; я все вожусь с второстепенными лицами, чувствую, что начал скверно, не так, что надо бы сызнова начать, и писать не торопясь, обдумать основательно весь план, как он теперь мне представляется, и потом продумывать каждую главу. А я пишу зря, что на ум взбредет, и оттого выходит вздор, путаница, повторения. Нет, это не труд художника, а маранье какого-то борзописца, будто по заказу. <…> Пишу, чтоб успокоить свою совесть, думаю, что, когда намараю все вчерне, так, может быть, можно будет кое-как отделать, возвратиться опять к началу, переделать его и провести героя. Утешаюсь этим, но в то же время сознаю и нелепость такой затеи. Нет, если б план был обдуман, ясен, тогда бы роман шел правильно, слитно и стройно; потом легко бы было и отделывать.

Но что об этом: пропащее дело! И не такие мыльные пузыри лопаются, как я!

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

1860. Сентябрь 16(28). Пятница. <…> Вечером Гончаров читал мне новую, написанную им в Дрездене главу своего романа. Он перед тем уже читал мне кое-что из него. Места, мне прочитанные до сих пор, очень хороши. Главная черта его таланта — это искусная тушевка, уменье оттенять верно каждую подробность, давать ей значение, соответственное характеру всей картины. Притом у него особенная мягкость кисти и язык легкий, гибкий. В новой, сегодня читанной главе начинает развертываться характер Веры. На этот раз я остался не безусловно доволен. Мне показалось, что характер этот создан на воздухе, где-то в другой атмосфере, и принесен на свет сюда к нам, а не выдвинут здесь же из нашей почвы, на которой мы живем и движемся. Между тем на него потрачено много изящного. Он блестящ и ярок. Я тут же поделился с автором моим мнением и сомнением.

Лонгин Федорович Пантелеев (1840–1919), *участник революционного движения 1860-х годов, один из активных деятелей первой «Земли и Воли», впоследствии (по возвращении из ссылки в 1874) сотрудник журнала «Отечественные записки», книгоиздатель, мемуарист:*

И. А. Гончаров на одном из вечеров познакомил публику с главой будущего «Обрыва» — «Софья Николаевна Беловодова» (этот отрывок был озаглавлен «Эпизоды из жизни Райского»). Тогда Гончаров был в зените своей славы; за год перед тем вышел «Обломов», и все нетерпеливо ждали нового произведения. Он также читал хорошо, но у него была своя манера: читал, как опытный докладчик, обдуманно, выразительно, но без внутреннего увлечения.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:*

С 1867 на 1868 год здесь (в Петербурге. — *Сост.)* провели зиму граф Алексей Константинович Толстой с женою. <…> Мы сблизились с ним еще прежде, в Карлсбаде, а тут виделись каждый день. Они звали меня беспрестанно — и я бывал почти ежедневно у них. Я уже уставал от всего, и, между прочим, от литературы, лениво заглядывал в свои тетради и, закончив давно третью часть *«Обрыва»,* хотел оставить вовсе роман, не дописывая.

Однажды я встретил там Стасюлевича, который тогда

старался оживить свой ученый журнал («Вестник Европы». — *Сост.)* беллетристикой и сойтись с Толстым, который готовил после «Смерти Иоанна» драму «Федор Иоаннович». Я сказал Толстому, что у меня есть три части романа «Художник Райский», что, кажется, я его не кончу, надоело, а вот посмотреть бы, не годится ли он так, как есть, в трех частях?

Все трое ухватились за эту мысль — и просили меня прочесть им написанное. Целую неделю все трое: граф, графиня и Стасюлевич, в два часа являлись ко мне и уходили в пять.

Михаил Матвеевич Стасюлевич. *Из письма жене Л. И. Стасюлевич. 28 марта 1868 года:*

Как ты знаешь, Гончаров под величайшим секретом читал у графа Толстого свой роман. Чтобы никто нам не мог помешать, роман читался в спальне графини; нас было всего 3 слушателя: я и граф с женой. Прочли несколько глав, но, выслушав такую вещь, нет возможности ничего больше помещать в журнале по беллетристике. Это прелесть высокого калибра. Что за глубокий талант! Одна сцена лучше другой! Думаю, что этот роман не минует «Вестника Европы»; недаром же автор никого не допустил к слушанию романа, кроме меня.

Иван Александрович Гончаров. *Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:*

Как они изумились этим трем частям! Как вдруг я вырос в их глазах! Хотя они сдержанно выражали одобрение, но я видел какую-то перемену в отношении ко мне, на меня глядели с каким-то удивлением, иногда шептали что-то, глядя на меня, и я видел, что я произвел хорошее впечатление. А Стасюлевич просто не отходил почти от меня, являлся каждый день — и я обещал поместить роман у него. Все это ободрило меня, и я решил кончить его летом, на водах.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Май 1868 года:*

Я решил уехать за границу и еду завтра — вдруг собрался. Меня торопит Стасюлевич и просто гонит. Да и самому мне негоже здесь долее оставаться; я только чувствую, как падают силы с каждым днем…

Несмотря на всю гнусность моего положения, меня не покидает-таки надежда на труд — так Стасюлевич энергически умеет умной, трезвой, сознательной критикой шевелить воображение и очень тонко действует и на самолюбие. Вообразите, что под влиянием этого в беседах с ним у меня

заиграли нервы и воображение, и вдруг передо мной встал конец романа ясно и отчетливо, так что, кажется, я сел и написал бы все сейчас. Я все ему высказал и также ясно, как Вам — помните, о дальнейшем ходе, и тут же у меня сам собою при нем развился и сложился или, лучше сказать, разрешился тот узел романа, который держал меня в праздности своею неразрешимостью — я как будто распутал последние нити. <…>

Что если б настоящее мое раздражение продлилось, ведь, пожалуй, и кончилось бы дело. Может быть, — Бог даст — и это полезно бы было мне вообще и не для одного романа, а и для того, чтобы как-нибудь забыть все галлюцинации, которые теперь, как фантасмагория, лезут мне в голову. Только бы не было за границею никаких встреч вообще и одной в особенности! Авось и не будет! <…>

Стасюлевич тоже, как и Вы, однако как будто проникся (авось не притворно) концом, который я едва, почти рыдая от волнения, мог высказать ему — как Вам — и он отчетливо высказал мне критически, как оно должно выйти и что значит.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Берлин, 26 мая 1868 года:*

Во мне теперь кипит будто в бутылке шампанского, все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, один, рыдаю как ребенок и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Берлин,* 30 *мая 1868 года:*

Задача становится все глубже, значение ее растет, и мне делается страшно самому — дай Бог сил выполнить, и я умру покойно, хоть тотчас, после своей подписи — нет, неправда: прежде хочу прочитать вам, Толстым, Тютчеву, Боткину, пусть бы и Анненков и Тургенев — да и он, тонкий знаток и ценитель (это пока все мечты, надо прежде выполнить), — кружок небольшой, тесный, но избранный, сливки ума и вкуса.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Берлин, 13 июня 1868 года:*

Я работаю, работаю пока головой еще — и вношу только заметки в карманные книжки, которых исписал уже штуки четыре. Мне снится что-то очень хорошее впереди, дай Бог только исполнить так, как снится, и я успокоюсь навсегда — тогда мое дело сделано. <…>

Сегодня кончил все делишки, а голова все пишет да пишет,

так что я почти могу сказать по порядку все главы, до самого конца. Ах, если б берег, берег скорей!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Киссинген, 6 (18) июня 1868 года:*

Давно ли — кажется, вчера, писал я Вам, драгоценный Михайло Матвеевич — и вот опять посылаю несколько строк. Переписка с Вами только подстрекает меня работать: Вы подгоняете меня Вашей бодростью, как кнутиком подгоняют кубарь — и я не дремлю. Отправив к Вам вчера или третьего дня письмо, я разобрал, наконец, и разложил по ящикам свои тетради, листки, листочки, клочки и carnets[46] — и сунул в них нос. Потом прочел последние две главы, чтобы напомнить себе, где остановился (помните, выстрел и Марк), и вдруг вижу, какие-то еще два-три листа (огромные, в виде простынь) лежат тут же, написанные моей рукой и не переписанные! Что за история, думаю я: и вдруг, что же! Прошлого года, в Мариенбаде, когда я неистово хандрил, точно убитый, напрасно стараясь приняться за труд, я успел нацарапать два-три листа огромных и потом бросил их, как никуда не годные, потому что еще не знал, как разрешится мой узел, остановивший меня. А теперь, когда вспомнил весь свой план (к которому приросло многое, что отчасти сказал Вам в вагоне и чего еще не говорил), вдруг по прочтении этих трех больших листов нашел, что листы эти для меня драгоценны, что в них Марк весь, как вылитый — и Вера тут же и что без этого дальше даже и писать нельзя. «Да как же это, думал я, так кстати приходится то, что я, сонный и вялый, нацарапал прошлого года и бросил?» Да, я не пишу роман — Вы правы: он пишется и кем-то диктуется мне. Я уже не стал читать старых тетрадей, как хотел было сначала, а бросился дальше и в то же утро, то есть вчера, написал еще два-три листика небольших, но уписистых, и вот опять, стало быть, царапаю. Что будет дальше — не знаю, а писать хочется. В голове оно стоит все готовое, до точки, до моей подписи. Дай Бог, чтоб написалось, как оно стоит, — тогда, может быть, Ваш журнал, ученый и строгий, дружески улыбнется мне, а я — когда подпишу свое имя, освобожусь немного от своих сомнений и недоверчивости.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Киссинген, 9 (21) июня 1868 года:*

Я в жалком положении, чуть не плачу от какой-то упорной вражды судьбы ко мне и к моему труду. Я рвусь к нему, мне снятся сны теперь только из второй половины моего романа, в который положил чуть не полжизни, и между тем все мешает мне,

на всяком шагу преграды, и какие иногда мелкие, ничтожные, а все же преграды! В сию минуту, например, Боже мой! Слезы ярости выступают у меня и я, вынув утром листки, сажусь за них такой бодрый, с такой охотой продолжать — и через полчаса, через час прячу их назад и убитый праздно влачу целый день и трачу даром время, пропускаю эти чудные, божественные, теплые дни, с ясным праздничным небом, чего недостает мне в Петербурге и что мне так необходимо для труда, для нормального состояния духа и для здоровья! <…>

Нет надежды, а начал было я так бодро и живо… а теперь все должен бросить, сунуть прибавившиеся листки в синюю, известную вам бумагу, запечатать опять и спрятать на дно чемодана. Я думаю даже, что я не докончу и курса и уеду. С улицы, кроме музыки, несется стук колес, говор… Боже мой! Зачем же это? Отчего в прошлом году какая-то толпа в Мариенбаде мешала мне? Отчего над моей комнатой поселился какой-то сумасшедший и топал ногами? Что же все это значит? Кого и чем я оскорбил умышленно? Где мои враги, чего они хотят от меня, или отчего не понимают, что я такое, и зачем делают слепо злое дело?

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Киссинген, 12 (24) июня 1868 года:*

Мне совестно за свое последнее письмо, где я под гнетом скоплявшихся туч, буквально тая два дня, засыпая среди белого дня при всех на водах, бессильный справиться с изнеможением, писал вам о безнадежности кончить труд. Не забывайте, пожалуйста, что я — барометр, что в натуре моей, и физической и нравственной, есть какие-то странные, невероятные и необъяснимые особенности, крайности, противоречия, порывы, неожиданности и проч., и, следовательно, не удивляйтесь, если скажу, что на другой же день, после вечера, разрешившегося грозой, я вдруг ожил, написал половину одной и начало другой главы и бегал по аллеям, как юноша, купил даже себе мой любимый и самый благородный цветок — лилию (которая будет фигурировать и во 2-й половине моей необыкновенной истории, т. е. необыкновенно странной) и писал целое утро <…>.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Швальбах, 14 (25) июля 1868 года:*

Я теперь пишу 34-й лист — и если меня не потревожат, то буду продолжать в Париже или Булони. Но я боюсь, сильно боюсь: против меня ведется неутомимая интрига и мне трудно ладить. Я могу упасть нервами и духом, и тогда какой роман возможен!

Петр Дмитриевич Боборыкин:

<…> Мне привелось услыхать от него одну весьма ценную подробность о том, *как* писался «Обрыв». <…>

Последнюю часть «Обрыва», задуманного им так давно, он писал за границей, на водах и, если хорошо помню, в Париже.

— Целыми днями писал я, — рассказывал он, — с утра до вечера, без всяких, даже маленьких, остановок, точно меня что несло. Случалось написать целый лист в день, *и больше,* и так быстро, что у меня делалась боль в пальцах правой руки, и я из-за нее только останавливал работу.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма М. М. Стасюлевичу. Париж, 19 (31) июля 1868 года:*

Тут было дня два с тучами, грозами и т. п. Я перед дурной погодой не сплю, хандра моя усиливается, мозговые нервы раздражены и плодом этого — отвращение ко всему в жизни и к самой жизни.

Однако же дурная погода не есть исключительная причина моего сплина: он имеет некоторые основания. Прежде всего это — отсутствие всякого огня и света в жизни, и оттого мне вообще скучновато. А если и есть огонь, так это тот только, который присутствует в тетрадях, находящихся теперь у вас, если вы не потеряли их. И в этом не все я виноват, а и природа вообще, и обстоятельства, и, наконец, моя странная, едва понятная мне самому натура.

Словом, я человек конченный: говорю это чуть не со слезами — и теперь уж больше и не жалуюсь. Я во всем сам виноват, или опять-таки тоже натура, что я несчастлив. А я очень несчастлив, так что не умею себе и представить состояния хуже, в котором нахожусь. Не желал бы, чтоб оно делалось еще хуже, а кажется сделается.

Кроме натуры и погоды есть и обстоятельства. Мне некуда уйти от невзгод, нет у меня никакого «недра», т. е. близких. Те, которые предлагали быть оными, таковы, что я от них — как бы подальше.

А сам я никому не предлагал: боялся, а если бывали случаи, то обжигался. А неблизкие проделывали и проделывают еще и теперь такие «симпатии» со мной и в таком нестерпимом количестве, что хоть покупай у Devism'a (он же близко от меня) револьвер, да и пали себе в лоб. Дорог только, бестия, я приценялся. Маленький просит 60 фр., да и с такими пружинами, что когда он показал, как им владеть, и дал мне, то я и приступиться не умел. И зачем же пять или шесть стволов, когда

и из одного можно пробить себе что угодно, даже мое брюхо? Он давал и одноствольный, но я на этот раз передумал и захотел жизни, поискать чего-нибудь близкого к ней — и пошел, и пошел горюном и остановился у одного окна: вижу — все аптекарские материалы, и с ними только одна книга на окне. Это показалось мне любопытно: я зашел и спросил, что за книга? Мне подали — читаю заглавие: Water closet — 1000 листов мягкой бумаги — 4 $^1/_2$ франка. Я никогда не покупаю книг, а эту купил. Вот она, на камине.

И тогда только, как купил, заметил несообразность. Там пистолет, т. е. конец всему, а тут 1000 листов, т. е. около трех лет жизни заручил себе! Завтра или послезавтра же исправлю эту несообразность: т. е. куплю и пистолет и положу рядом с этой книгой, и каждый день буду спрашивать себя to be or not to be[47]? Да еще череп где-нибудь достану — да!

Я решил не печатать — не потому, чтобы не хотел (Боже сохрани: я и права не имею, это мой долг печатать, если уже написано), а потому что мрачное предчувствие говорит мне, что что-нибудь да помешает печатать. Около меня раскинуты какие-то тенета, в которые меня ловят, как зайца, и травят собаками. И затравят — вы увидите. И все же я буду правее многих.

«Что за мрачные мысли, а уехали вы от нас веселый?» — скажете вы. Да, я отовсюду уезжаю веселый — и от вас тоже. Но мне все казалось, что будто и вперед меня бросились, и по пятам моим погнались — все обитатели и обитательницы Швальбахской улицы и все гулявшие там: и лейтенанты, и красавицы, и коровки — и даже большеголовый мальчик, или если не все, то некоторые, чтобы караулить, ловить меня, подводить, смеяться. Только вы одни с Любовь Исааковной и остались немножко за меня, все же против. И все мне кажется, что со мной случится впереди неприятность, что на меня обрушат какую-нибудь скверную, скандальную историю… И вот я и завожу себе револьвер, с одной стороны, и книгу Water-closet, с другой, чтобы решить: to be or not to be!

Поступите с моими тетрадями решительно как заблагорассудите. Если вы полагаете, что их стоит и можно печатать, то печатайте. Если же встретите препятствие — оставьте. Что же делать, если не судьба!

Иван Александрович Гончаров. *Из письма А. А. Музалевской. 27 сентября 1868 года:*

От хандры не спасает меня и занятие, некогда любимое, т. е. литература. Я было усердно стал работать летом, подвел свой старый труд к концу и даже уговорился с одним редактором

печатать его. Да не достало терпенья. Начало залежалось и теперь старо, а вновь написанное надо много отделывать — и я махнул рукой и бросил. Редактор сердится на меня, я сержусь на себя и на свою старость — и ничего теперь не делаю, гляжу только задумчиво в окно и ковыряю в носу.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма С. А. Никитенко. Осень 1868 года:*

В конце концов все-таки пришли к тому, что я отдаю рукопись Михайле Матв<еевичу>. (Стасюлевичу. — *Сост.),* и 1 ноября вероятно появится и объявление о выходе моего романа.

<…> Я читал первую часть и мне самому страшно, как это все старо, длинно, скучно.

Михаил Матвеевич Стасюлевич. *Из письма А. К. Толстому. 1 декабря 1868 года:*

Могу вам сказать, что сегодня 3 декабря, а часть «Обрыва», назначенная в январь, уже лежит на столе — сверстанная.

Из этого Вы заключите, что мы с Иваном Александровичем не дремлем и поработали в конце ноября — немало.

Он совсем здоров, не хандрит и выступает молодцом, но все же говорит, что первого января зароется в подушки так, что видны будут его посетителям одни только каблуки.

Дай Бог, чтобы наши критики не напали на него с свойственным им остервенением и дали бы ему покойно держать корректуру последующих частей.

Алексей Константинович Толстой (1817–1875), *граф, поэт, драматург. Из письма М. М. Стасюлевичу. 13 декабря 1868 года:*

Как я рад, что И. А. ожил! Этим он, конечно, обязан вам, как мы обязаны вам извлеченьем из тьмы кромешной его истинно прекрасного романа. Честь и слава вам! Не знаю, придется ли ему зарываться в подушки от критиков и показывать им каблуки, но от публики, наверно, не придется. Я не сомневаюсь ни одной минуты, что его «Обрыв» будет принят с восторгом.

Иван Александрович Гончаров. *Из письма Ек. П. Майковой. Январь 1869 года:*

Весь роман похож на громоздкий омнибус, тяжело переваливающийся по тряской мостовой.

Михаил Матвеевич Стасюлевич. *Из письма А. К. Толстому. 10 мая 1869 года:*

О романе Ивана Александровича ходят самые разнообразные

слухи, но все же его читают, и многие читают. Во всяком случае, только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году за весь год у меня набралось 3700 подписчиков, а нынче, 15 апреля, я переступил журнальные геркулесовы столпы, то есть 5000, а к 1 мая имел 5200.

На закате дней

Петр Петрович Гнедич (1855–1927), *писатель, драматург, историк искусства:*

В восьмидесятых годах в Петербурге, на Моховой улице, на Сергиевской, иногда на набережной Невы и в Летнем саду, изредка на Невском, можно было видеть маленького старичка с палкой, в синих очках, неторопливо совершающего свою обычную прогулку. Он не замечал, или старался не замечать, проходящих. Только иногда, сидя на скамейке Лет него сада, поглядывал он менее строго на гуляющих и с подходящими знакомыми вступал даже в разговоры. Это был автор «Обломова» и «Обрыва» — Иван Александрович Гончаров.

От прежнего Гончарова, каким его знали и рисовали современники, остались только слабые искры. Ворчливый, привередливый, замкнутый в своей маленькой квартире на Моховой, он всех чуждался. Его уважали, но звали чудаком и как будто избегали.

Михаил Матвеевич Стасюлевич:

<…> Последним произведением его литературного творчества следует, собственно, считать роман «Обрыв», появившийся в нашем журнале в 1869 году, когда автору его было не более пятидесяти семи лет. Нельзя, конечно, было тогда ожидать от него скоро нового произведения, так как он, по-видимому, буквально следовал совету Горация держать девять лет под изголовьем свой труд, прежде нежели выступить с ним в свет: десять лет прошло тогда со времени появления «Обломова» (1868 год), которому предшествовал «Фрегат «Паллада»» более чем за десять лет (1857 год), и только за десять лет перед тем появилась «Обыкновенная история» (1847 год) — Но после «Обрыва» прошло тщетно и десять лет и двадцать лет, и этот роман так и остался без преемника. Знавшие покойного близко могут при этом только свидетельствовать, что такой перерыв, или, вернее сказать, поворот, в литературной деятельности автора «Обломова» отнюдь не был результатом хотя бы малейшего падения в нем творческих сил; напротив — лица, имевшие с ним частые свидания и встречи, очень хорошо помнят, что перед ними по-прежнему оставался тот же умный, высоко и разносторонне образованный, подчас веселый и в высшей степени наблюдательный собеседник, которому, по-видимому, ничего не оставалось, как только взять в руку перо, чтобы создать что-нибудь новое, вполне достойное автора «Обломова». Объяснить

такое, по-видимому, ненормальное явление может быть задачею только будущего биографа, который получит возможность войти в изучение всех подробностей внутренней жизни покойного и его литературных отношений.

Леонид Николаевич Витвицкий:

В восьмидесятых годах И. А. Гончаров проживал неоднократно на даче в Дуббельне. Это дачное место ему очень нравилось, и морские купанья, а также целебный морской воздух, напоенный ароматом сосны, действовали благотворно на его увядавшие силы.

Каждый раз, проведя лето в Дуббельне, он возвращался в Петербург закаленным к борьбе с дурными влияниями сурового климата нашей северной столицы. Для старика, каким был уже в то время Иван Александрович, он был еще очень свеж и бодр. Это был один из тех железных организмов, которые все реже встречаются в наше больное, нервное время. Живя восьмой десяток лет, он прекрасно сохранился, был хороший ходок, любил хорошо поесть и отличался неизменно светлым настроением духа, чуждым старческого брюзжания и пессимизма. Немного подкосила его потеря зрения на один глаз, которую он приписывал неискусству врачей и потому не особенно их долюбливал. Эта болезнь, нужно полагать, очень тревожила почившего, так как он часто говорил о ней. <…>

В последние годы поездки в сравнительно отдаленный Дуббельн стали для Ивана Александровича довольно тягостны, особенно после того, как в 1886 году он, простудившись, прохворал там несколько недель; он проводил поэтому лето в более близком к Петербургу Гунгербурге. Об означенной болезни Ивана Александровича в Дуббельне у нас сохранилась собственноручная его запись, которую он нам вручил при прощанье в вагоне для опубликования во всеобщее сведение, так как, пожалуй, говорил он, еще переврут и сделают слона из мухи. А он очень не любил, когда в газетах появлялись неверные о нем сведения, — это его волновало и расстраивало даже до комизма. В записи его, в то время опубликованной, значится: «И. А. Гончаров в начале августа простудился после купанья и занемог сильным катаром с воспалением левого легкого. Недели полторы он пролежал в постели. Профессор доктор А. Г. Полотебнов, проводивший также в Дуббельне лето, быстрыми энергическими мерами восстановил настолько силы г. Гончарова, чтобы последний мог совершить обратный путь до Петербурга, — но с крайнею, по предписанию г. Полотебнова, осторожностью. Железнодорожное начальство, узнав о состоянии

больного, озаботилось устроить ему удобное помещение для переезда, чтобы в пути болезнь не усилилась от какой-нибудь случайности, сквозного ветра и т. п.».

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Старчество людей с громким именем сказывается всего чаще в беспокойном тщеславии, которое заставляет человека беспрестанно говорить о том, чем он прославился. У Гончарова преклонный возраст проявлялся скорее в болезненном ограждении себя как человека и писателя решительно от всего, что могло бы поставить его в какое-нибудь ответственное положение перед публикой и критикой. Но творческий инстинкт не замирал в нем почти до самых последних дней, и уже семидесяти пяти лет он мог еще художественно изображать типы прислуги крепостного времени.

Петр Петрович Гнедич:

В восьмидесятых годах я читал в драматической школе, что была при обществе, историю театра, заместив П. Д. Боборыкина, уехавшего за границу. На школьные экзаменационные спектакли съезжалось много публики. Раз приезжаю я — оказывается, целое событие: кроме обычных посетителей — «дща» Мордовцева, Григоровича, Случевского, Плещеева, — приехал и Иван Александрович.

Застал я его сидящим в самом благодушном настроении с артисткой Н. С. Васильевой, которая преподавала у нас в школе.

Увидя меня, она воскликнула:

— А вот и автор!

Оказывается, она звала Гончарова посмотреть в Александринском театре мои «Горящие письма», где играла главную роль. Гончаров посмеивался, опираясь на свою палочку, и говорил:

— Я в театры не хожу. Приехал на ваш экзамен, чтоб увидеть спектакль, должно быть, последний раз в жизни. А «Горящие письма» мне дома прочли два раза. Такой тонкий диалог, я полагаю, со сцены пропадает. Когда я подумаю, что для того, чтоб попасть к вам в театр, надо заранее выбирать день, посылать за билетом, надевать галоши, шарф, шубу, нанимать извозчика, даже карету, ехать, вылезать, толкаться, раздеваться на сквозном ветру, потом искать свое место, потом опять одеваться, разыскивать карету…

Артистка смеялась, посмеивался и Иван Александрович, постукивая об пол костыльком. Когда ее позвали на сцену и стали звонить к началу спектакля, он взял меня под руку и сказал:

— Будьте моим ангелом-хранителем, сведите меня в первый ряд и наставляйте меня на добрый путь; главное, покажите, которая Пасхалова, мне про нее наговорили много.

Я усадил его и сел рядом.

Увы! Благодушие его тянулось недолго. Поднялся занавес, и началось представление. Иван Александрович делался все беспокойнее и беспокойнее. Он вслушивался в текст, поворачивал то одно ухо к сцене, то другое и наконец спросил:

— Что это за пьеса?

— «Месяц в деревне», — ответил я.

Он помолчал, а потом спросил:

— Чья пьеса?

Я сказал.

— Тургенева? Гм…

Он повернулся боком на стуле.

— А скажите, как фамилия этих учениц?

Я начал называть.

— А учеников?

Я и учеников назвал.

— А это кто сидит налево во втором ряду?

Я сказал, что не знаю.

— А Пасхалова — внучка Мордовцева?

— Кажется, внучка.

— А скоро они кончат?

Словом, он перестал слушать пьесу и, как только опустили занавес, собрался домой. Его стали удерживать.

— Нет, я стар для такого времяпровождения, — стараясь улыбнуться, говорил он. — Мне уже тяжело. Вот меня проводит мой архангел до прихожей, покажет дорогу, и я отправлюсь к себе на боковую.

И уехал.

Через несколько времени встречаю его возле Летнего сада.

— Рад, что вас встретил. В мои годы писать трудно. Вы увидите вашего председателя. Скажите ему от меня серьезно, что нельзя так обращаться с людьми моего возраста, как обращаетесь вы.

Вижу, старик волнуется, я успокаиваю:

— В чем дело, Иван Александрович? Все сейчас устрою, что желаете.

— Помилуйте! Вчера вечером звонок. Заметьте, уж поздно. Какие-то переговоры с прислугой. Спрашиваю: что такое? Оказывается — повестка. Какая повестка? Зачем повестка? Мне никаких повесток ниоткуда не надо. Начинаю разбирать. Оказывается — приглашают меня на очередное собрание, слушать

какой-то реферат…

Он посмотрел на меня, вызывая на сочувствие.

— Всем членам рассылают повестки, — рискнул сказать я и раскаялся. Разыгралась совсем сцена из «Обломова», когда Захар объяснил Илье Ильичу, что «все так переезжают».

— И пусть всем посылают повестки, а меня увольте! — возвысил он голос и даже махнул костылем. — Нельзя тревожить больного старого человека повестками. Доживите до восьмидесяти лет — тогда поймете, что этим не шутят. Предупреждайте письмом по почте… А то еще телеграммы вздумаете присылать. Надо же хоть немного иметь снисхождение к моему возрасту.

И он пошел дальше, сердито постукивая палкой и опираясь на молодую девушку, служившую ему поводырем.

Елизавета Александровна Гончарова:

Снова мы посетили его через два года (1885 — *Сост.*). Тогда он начинал терять зрение; несмотря на операцию, глаз отказывался ему служить, и он находился под гнетущим, тяжелым чувством утраты зрения. Ему было не по себе. Хотя он угощал нас чаем с какими-то сухарями, но это делалось как будто a contre coeur[48], по провинциальной привычке угощать приезжих родственников. Муж уехал от него раньше, я же осталась посидеть и услышала бесконечную старческую жалобу на потерю зрения. Он говорил, что к нему очень любезна императорская фамилия, что его приглашают ко двору, «все-таки не забывают», ему кланяются, с ним говорят, а он не видит, не замечает никого. Незадолго перед тем он был приглашен на обед к принцу Лейхтенбергскому; против него сидела принцесса Ольденбургская, которая обратилась к нему со словами: «Иван Александрович, вы не хотите узнать меня, почему такая немилость?» Он извинился. «Слепну, ничего не вижу», — сказал он. Рядом сидел князь Х., заговаривал с ним, но он его не узнал. В этом роде тянулся длинный ряд сетований о том, что ему трудно бывать в обществе, где раньше он был желанным гостем; приходится отказываться от посещений двора и большого света, к которому он так привык. Обидно было за него, слушая эти старческие жалобы из уст крупного писателя; чуялось разложение великой мысли. Его речь оставила во мне тяжелое впечатление осиротелости, одиночества среди массы поклонников.

Николай Иванович Барсов:

По причине болезни глаз он должен был надеть особого рода окуляры, быстро исхудал до неузнаваемости и до того, что мог

ходить лишь в сопровождении «няньки», как он называл водившую его под руку даму, <…> прогулки его не простирались далее Моховой и части Литейной.

Анатолий Федорович Кони:

С половины восьмидесятых годов жизнь Гончарова пошла заметно на убыль, в особенности после того, как он ослеп на один глаз вследствие кровоизлияния, причинившего ему тяжкие до слез страдания. Он побледнел и похудел, почерк его стал хотя и крупнее, но неразборчивее, и он по целым неделям не выходил из своей мало уютной и темноватой квартиры на Моховой, в которой прожил тридцать лет. На летнее время далекий и любимый Дуббельн сменился более близкой Усть-Наровой, а затем и Петергофом: угасающего автора «Фрегата «Паллады»» продолжало тянуть к морю. Но с тех пор, как смерть, очевидно уже недалекая, простерла над ним свое черное крыло и своим дыханием помрачила его зрение и затем ослабила его слух, он просветлел духом и проникся по отношению ко всем примирением и прощением, словно не желая унести в недалекий гроб свой какие-либо тяжелые чувства. Он стал трогателен в своем несчастии и, выражаясь словами его любимого поэта, «прост и добр душой незлобной». В этом уединении, принимая только немногих близких знакомых, весь отдавшись заботам о будущем приголубленной им семьи, он ждал кончины со спокойствием усталого от жизни и верующего человека. «Я с умилением смотрю, — писал он мне в 1889 году, — на тех сокрушенных духом и разбавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенкам в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго, видят в жизни и над жизнью только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются. «Это глупые и блаженные», — говорят мудрецы-мыслители… Нет — это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных».

Тихая кончина

Михаил Матвеевич Стасюлевич:

И. А. Гончаров после кратковременной болезни — около трех недель — скончался в двенадцатом часу дня 15 сентября. Самая кончина его наступила так тихо, что в первое время окружающие приняли смерть за сон, последовавший немедленно по удалении врача, как это уже случалось не раз и прежде.

Мы навестили Ивана Александровича на его даче в Петергофе в последний раз 25 августа и нашли его здоровье в таком удовлетворительном положении, в каком давно уже не случалось нам его видеть. О значительном восстановлении его сил за лето можно было судить уже по тому, что он не только рассказал нам о том, сколько он «наработал» летом, но даже мог взять на себя труд прочесть один из трех очерков, продиктованных им в течение летних месяцев. Если он тут же передал нам свои желания относительно этих рукописей — «на случай смерти» — и собственноручно повторил то же на обертке рукописей, то мы не могли видеть в этом какого-нибудь предчувствия, так как он в последние годы не раз делал подобную оговорку. Конечно, в его возрасте малейшая неосторожность могла повлечь за собою, совершенно неожиданно для окружающих, самые тяжкие последствия. Так это и случилось. Два дня спустя, 27 августа, он заболел так сильно острою, но вовсе не опасною во всяком другом возрасте болезнью, что можно было ожидать немедленной катастрофы; острая болезнь, однако, прошла и вместе с тем унесла с собою безвозвратно его последние силы. Это обстоятельство и было настоящей причиною его смерти, — и тем не менее организм покойного выдерживал борьбу со смертью в течение двадцати дней. 6 сентября оказалось даже возможным благодаря небольшому улучшению перевезти больного с дачи на его городскую квартиру, где медицинская помощь могла быть более доступна. Еще за три дня до смерти, при консультации врачей, на которую был приглашен д-р Л. В. Попов, обнаружилось снова некоторое улучшение сравнительно с предыдущими днями, и только слабая деятельность сердца при затрудненном дыхании говорила о легкой возможности быстрого конца, несмотря на улучшение.

Анатолий Федорович Кони:

Я посетил его за день до его смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и

сказал твердым голосом: «Нет, я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил…»

Михаил Матвеевич Стасюлевич:

Несмотря на то, что преклонный возраст покойного отдалил день его кончины от времени появления в свет последнего его крупного литературного произведения более чем на двадцать лет, публика в течение четырех дней и в самый день погребения, 19 сентября, в Александро-Невской лавре, собиралась толпами на Моховой в квартире усопшего — более похожей на келью отшельника, — где он прожил около тридцати лет, и выражала самую живую симпатию к его памяти.

Аполлон Николаевич Майков. *Из письма В. А. и А. А. Майковым, 17 (29) или 18 (30) сентября 1891 года:*

Сейчас мы с мамой вернулись с панихиды по Гончарову, с его квартиры. Панихида в 8 ч<асов> в<ечера>. Небольшие две низенькие комнаты были уже набиты публикой, преимущественно так называемой учащейся молодежью, обоего пола. Это меня поразило неприятно: ожидал встретить знакомых, общих с покойным, а тут — улица, мода. Я уверен, что большинство даже «Фрегата «Паллады»» в гимназии не читали. Все так, для общего дела. Какое право она имеет врываться в дом к незнакомому человеку? Все близкие оттеснены, их не видать, да им и продвинуться в толпе некуда. Но мало-помалу я начинаю мириться с этой толпой: я очутился около кучки медицинских студентов — и, вижу, они крестятся, некоторые подпевают, и крестятся при словах об упокоении души, о прощении прегрешения вольного же и невольного, о предстоянии перед Престолом Света Вечного и о Страшном Суде. Крестятся при этих словах, следов<ательно> у них есть общее со мной, не обезьяна, хотя и медики и курсистки — ну, слава Богу, мода модой, а все же и образ на них Божий.

Из заметки в газете «Сын Отечества». 18 сентября 1891:

Вчера, вечером, у гроба почившего Гончарова, после панихиды, один из присутствовавших, убеленный сединами офицер, обратился к публике со словами: «Пред нами в гробу великий человек, девизом которого во всю его жизнь было добро. Чем же нам почтить память его, как не добрым делом. Теперь люди голодают… и если мы здесь у гроба Ив. Ал. внесем свою лепту в пользу голодающих, сделаем такое дело, которое доставило бы ему удовольствие, если бы он был жив среди нас». При этом офицер вынул из бумажника 20 рублей. Вы думаете его

примеру последовали? Как бы не так! Помилуйте, он пьян, разве можно это допускать, его нужно вывести, — раздались голоса. Однако оказалось, что трезвого, заслуженного, увешанного боевыми отличиями полковника вывести было нельзя. На это никто не решился, но никто не решился предложить и копейки.

Анатолий Федорович Кони:

На новом кладбище Александро-Невской лавры течет речка, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла для всех нас неизбежная *обыкновенная история,* его друзья — Стасюлевич и я — выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор *«Обломова»*… на краю *обрыва*…

Краткая летопись жизни и творчества И. А. Гончарова

1812, 6 (18) июня. В Симбирске в семье купца Александра Ивановича Гончарова и его жены Авдотьи Матвеевны (урожд. Шахториной) родился сын Иван.

1819, 10 сентября. Смерть Александра Ивановича Гончарова.

1820–1822, лето. Пребывание Ивана Гончарова в пансионе священника Ф. С. Троицкого, в селе Репьевка (имение кн. Е. П. Хованской).

1822–1830. Обучение в Московском коммерческом училище в числе полных пансионеров.

1831, 27 августа. Сдает приемные экзамены в Московский университет. Признан способным «к слушанию профессорских лекций на словесном отделении».

1832, 27 сентября. А. С. Пушкин посещает Московский университет — лекции профессоров И. И. Давыдова и М. Т. Каченовского. Гончаров был свидетелем горячего спора между Пушкиным и Каченовским о подлинности «Слова о полку Игореве».

1832, октябрь. В № 15 журнала «Телескоп» опубликовано первое произведение Гончарова — перевод глав из романа Евгения (Эжена) Сю «Атар-Гюль».

1834, 5 июля. Окончание обучения на словесном отделении Московского университета.

1834, июль — 1835, апрель. Возвращение в Симбирск, служба секретарем канцелярии Симбирского губернатора.

1835, май. Приезд в Петербург; на службе в Департаменте внешней торговли министерства финансов в качестве переводчика.

1838, апрель. В № 12 журнала кружка Майковых «Подснежник» включена повесть Гончарова «Лихая болесть».

1844. Замысел романа «Обыкновенная история».

1846. Знакомство с В. Г. Белинским. Читает в кружке В. Г. Белинского первую часть «Обыкновенной истории».

1847. В №3 «Современника» опубликована первая часть романа «Обыкновенная история».

1849. «Литературный сборник с иллюстрациями», изданный журналом «Современник», содержит «Сон Обломова. Эпизод из неоконченного романа».

1850. Написана первая часть романа «Обломов».

1851. 11 апреля. Смерть матери, Авдотьи Матвеевны, в

Симбирске.

1852. Высочайшее соизволение на командирование Гончарова к исполнению должности секретаря при адмирале Е. В. Путятине для отправки на фрегате «Паллада» в экспедицию для обозрения североамериканских колоний.

1852, 25 сентября. Отплытие фрегата «Паллада» из Средней гавани на Кронштадтский рейд.

1852, осень — 1854, лето. Кругосветное путешествие на фрегате «Паллада».

1855, 25 декабря. Высочайший приказ по гражданскому ведомству о награждении Гончарова чином статского советника.

1856, 19 февраля. Определен на должность цензора Петербургского цензурного комитета.

1856, июнь-август. Поездка за границу. В Мариенбаде завершает работу над романом «Обломов».

1856, 21 декабря. Определен преподавателем русского языка и словесности к наследнику Николаю Александровичу, с сохранением должности цензора.

1858, весна. Выходит отдельное издание путевых очерков «Фрегат «Паллада»».

1859, январь-апрель. Публикация в журнале «Отечественные записки» романа «Обломов».

1860, 24 ноября. Избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению языка и словесности.

1862, сентябрь. Определен на службу в министерство внутренних дел, занимает должность главного редактора газеты «Северная почта».

1863, июнь. Назначен членом Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания и произведен в действительные статские советники.

1867, декабрь. Согласно прошению, уволен со службы по причине расстроенного здоровья.

1868. Завершение романа «Обрыв».

1869, январь-май. Публикация в журнале «Вестник Европы» романа «Обрыв».

1872, март. В журнале «Вестник Европы» опубликована статья «Мильон терзаний» о комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

1873, осень. Преподает русскую словесность детям великого князя Константина Николаевича.

1880, 12 июля. Избран французским Литературным фондом русским членом-корреспондентом Общества литераторов Франции.

1882, декабрь. Усиливается болезнь глаз с потерей зрения

правого глаза.

1883, Издание Полного собрания сочинений И. А. Гончарова в 8 томах.

1885, 19 января. Избран почетным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.

1891, 15 сентября. Смерть И. А. Гончарова.

1891, 19 сентября (1 октября). Похороны на Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

1956. В связи с ликвидацией Нового Никольского кладбища Александро-Невской лавры прах Гончарова перенесен на Литераторские мостки Волковского (Волкова) кладбища.

Библиография

1. И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Отв. ред. Н. К. Пиксанов. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1969.

2. *Гончаров А. Н.* Воспоминания о И. А. Гончарове. Публикация М. Ф. Суперанского // Вестник Европы. 1908. № 11. С. 13–48.

3. *Гончаров И. А.* Письма к родственникам. Публикация М. Ф. Суперанского // Вестник Европы. 1908. № 12. С. 418–590.

4. *Гончаров И. А.* Собрание сочинений. В 8 т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 7–8.

5. Литературное наследство. Т. 102. И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000.

6. *Утевский Л. С.* Жизнь Гончарова. Воспоминания. Письма. Дневники. М.: Аграф, 2000.

Задняя обложка

Гончаров был писатель чисто русский, глубоко и безраздельно национальный… Его задачи, мотивы, типы всем нам так близки. На общественной и литературной репутации Гончарова нет не только пятен, с ней даже не связано ни одного вопросительного знака.

Имя Гончарова цитируется на каждом шагу, как одно из четырех-пяти классических имен, вместе с массой отрывков оно перешло в хрестоматии и учебники; указания на литературный такт и вкус Гончарова, на целомудрие его музы, на его стиль и язык сделались общими местами. Гончаров дал нам бессмертный образ Обломова.

Иннокентий Анненский

Кем-то в истории критики, — кажется, Михайловским, — было замечено, что все, что писал Гончаров, было крупно, т. е. многозначительно. Что мелких вещей, мелких заметок и «штрихов» он не писал вовсе. Это справедливо и выражает вообще монолитность его природы, важность, тягучесть и горизонтность его мысли. Мы все, погруженные в «партии», горизонтов России не видим. Мы спорим, кричим и «раздираемся на части», подробностями ее, частностями. Гончаров мог бы всем нам сказать: «Глупости. — Вот что важно».

Василий Розанов

notes

Примечания

1

Не тронь меня *(лат.)*.

2

Манера разговора *(фр.)*.

3

«Сколько стоят сигары?» — «25 талеров». — «За тысячу?» — «За сотню» *(нем.)*.

4

Теперь дамский час *(нем.)*.

5

Мировоззрение *(фр.)*.

6

Острота *(фр.)*.

7

Всерьез *(фр.)*.

8

Вечно женственное *(нем.)*.

9

В конце концов *(фр.)*.

10

Слоеный пирог *(фр.)*.

11

С листа *(фр.)*.

12

Под этим именем в воспоминаниях Гончарова описал своего крестного.

13

«Парижские тайны» *(фр.)* — роман Э. Сю.

14

Без предварительной подготовки, с листа *(фр.)*.

15

Вы хорошо использовали предоставленное вам время. *(фр.)*

16

Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого очень хотел! *(фр.)*

17

Рангоутный брус, служащий продолжением бушприта. — *Примеч. сост.*

18

Cancrelat *(фр.)* — таракан.

19

Я вижу дурной сон *(фр.)*.

20

Между 9 и 10 часами вечера, не так ли? *(фр.)*

21

«Это бесполезно, что Вы посылаете», — Вы сказали вчера *(фр.)*.

22

А я люблю бесполезное *(фр.)*

23

Синих чулков *(фр.)*.

Откровений *(фр.)*.

25

Как истинный подарок судьбы *(фр.)*.

26

Нужно расставить все точки над «i» *(фр.)*.

27

В парадном мундире *(фр.)*.

28

В невыгодном положении *(фр.)*.

29

В неопределенном положении *(фр.)*.

30

Чтобы забыться *(фр.)*.

31

Восхищение *(фр.)*.

32

Из несомненных вещей самое несомненное — сомнение *(фр.)*.

33

Fra poco a me ricovero dar negletto a velo… *(um.)* — «Ах, скоро все страданья в могиле я сокрою…»

34

La donna e mobile… *(um.)* — «Сердце красавицы склонно к измене…»

35

Мадам, Вы порвали платье *(фр.)*.

Задней мысли *(фр.)*.

37

Этот достойный облик *(фр.)*.

38

Как слабости, замечено Вами *(фр.)*.

39

Что самое несомненное — сомнение *(фр.)*.

40

Позлащенная пилюля *(фр.)*.

41

Едкое письмо *(фр.)*.

42

Все к лучшему *(фр.)*.

43

Повод к раздорам *(лат.)*.

Возрастание *(фр.)*.

45

Письмо написано на почтовом листе с виньеткой, изображающей достопримечательности Мариенбада. — *Примеч. сост.*

Записные книжки *(фр.)*.

Быть или не быть *(англ.)*.

Нехотя *(фр)*.